

## ● ВКЛАДЫ НАСЕЛЕНИЯ В СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК

Накопить нужную сумму для покупки ценной вещи: автомашины, дома и др. вам будет легче, если вы воспользуетесь услугами Сберегательного банка СССР.

Его учреждения принимают от населения вклады следующих видов:

- до востребования;
- условные;
- на текущие счета;
- срочные;
- срочные с дополнительными взносами;
- молодежные премиальные;
- выигрышные;
- денежно-вещевые выигрышные;
- на единую сберегательную книжку;
- целевые вклады для детей.

Каждый вид вклада имеет свои преимущества, и вы можете выбрать ту форму хранения сбережений, которая вас больше всего устраивает. С условиями вкладов вы можете ознакомиться в любом учреждении Сберегательного банка СССР.

Сберегательный банк выплачивает вкладчикам доход по вкладам от 2 до 4 % годовых в зависимости от вида вклада и срока его хранения.

Сохранность денежных сбережений, тайна вкладов и выдача их по первому требованию вкладчиков гарантируются государством.

**РОССИЙСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК  
СБЕРЕГАТЕЛЬНОГО БАНКА СССР**



*Леонид ЗОРИН*

**МОСКВА  
ИЗДАТЕЛЬСТВО  
«ПРАВДА»**

# ЗАКАТЫ

Леонид ЗОРИН

# ЗАКАТЫ

РАССКАЗЫ

Москва. Издательство «ПРАВДА»

1988

## Леонид ЗОРИН

*Леонид Генрихович Зорин родился в 1924 году в г. Баку. Членом Союза советских писателей стал в 1942 году.*

*Он автор 35 пьес, поставленных и опубликованных на родине и за рубежом. Пьесы Зорина собраны в трех однотомниках и двух томах «Избранного», вышедших в «Искусстве» в 1986 году.*

*Его перу принадлежат сценарии 15 фильмов. Фильм «Мир входящему» удостоен Большой Золотой медали на Венецианском фестивале 1961 года.*

*Леонид Зорин — автор трех книг прозы. «Старая рукопись» (1983) и «Странник» (1987) вышли в издательстве «Советский писатель», «Осенний юмор» (1986) — в «Московском рабочем». Рассказы, повести и статьи Л. Зорина публиковались в «Правде», «Огоньке», «Новом мире», «Неве», «Театре», «Вопросах философии» и многих других газетах и журналах.*

*За заслуги в литературе писатель награжден орденами Дружбы народов и «Знак Почета».*

## ГОЛОСА

— Тебя к телефону, — сказала Владимиру Сергеевичу дочь.

— Кто там еще? — спросил он недовольно.

Телефон был его главным преследователем. Иногда он смотрел на это маленькое черное чудовище, похожее на застывшего бульдога, с каким-то непонятным ему самому страхом. Казалось, что с незапамятных времен в доме завелся тайный враг, безжалостный разрушитель. Можно было только мечтать о тихих часах, принадлежавших тебе целиком, о часах, когда душа свободна от каждодневных обязанностей, мысль исподволь набирает силу, еще минута, мгновение — и родится что-то важное, единственно верное, необходимое ему и людям.

И всегда на пути вставал телефон, он звенел негромко и медоточиво, но Владимир Сергеевич знал, что этой застенчивой трели доверять нельзя. Стоит снять трубку, и — прощай одиночество! — вторжение в его заповедник неизбежно.

Чей это голос и что это за слова, Владимир Сергеевич представлял себе смутно. Между тем его теребили часто. Звонили коллеги, ответственные деятели, звонили ученики, старые приятельницы. Говорить с последними было не слишком просто, он подыскивал слова, думал о том, как бы не обидеть, не сказать лишнего, в результате был не вполне естественным, это его раздражало. И долго еще после каждого такого разговора тлел в душе неприятный осадок.

С печальной ясностью он понимал, что в его годы ждать дарованной кем-то радости несерьезно, жизнь обрела такие прочные и устойчивые формы, что не только перемены, даже случайности маловероятны, и все же каждый раз он брал трубку со смешившим его самого волнением.

Иной раз ему казалось, что голоса играют в его жизни большую роль, чем лица. Лица мелькали, многие забывались, а голоса жили долго. Лица старели, а голоса много лет казались молодыми. Лица часто казались недостаточно выразительными — в чем ему, архитектору, художнику, было стыдно признаться даже самому себе, — они быстро исчерпывали его интерес, голоса же таили в себе некие неразгаданные загадки, чуткому слуху предстояло их понять. Любопытно, сумел бы он по незнакомому голосу воссоздать облик? Скорей всего, это пустая затея.

Однажды ему позвонила молодая женщина, может быть, даже девушка. Голос ее так почтительно дрожал, что его это умилило. Голос казался хрупким, как стеклышко, одна неосторожная фраза в ответ — и от него останутся лишь осколки. Чувствовалось, что этот звонок непросто ей дался. Задышавшись, путаясь в словах, не умея толком составить предложения, она объяснила, что ей столько говорили о его, Владимира Сергеевича, редкой отзывчивости и доброте, что она рискнула, взяла на себя смелость, позволила себе дерзость, здесь у нее вновь перехватило дыхание. Он попросил ее успокоиться, и выяснилось наконец, что есть одно место, в почтенной мастерской, попасть туда сложно, очень сложно, но одного его слова, даже полуслова было бы достаточно, чтоб ее приняли для беседы, лишь для беседы. Она рассказала, где училась, где работала, почему оказалась вынужденной к нему обратиться, называла знакомых ему людей, и вновь повторила; ей нужно только, чтоб ей уделили полчаса, не больше. Пусть ей дадут аудиенцию, и она расскажет о себе толковей и лучше, чем делает это сейчас, представит все необходимые бумаги и документы. Но тяжело быть человеком с улицы, предстать пред начальством неожиданно-негаданно, если о тебе никто ничего прежде не слышал, очень неловко!

Когда она наконец выдохнула из себя последнее междометие, он мысленно усмехнулся. Такая, значит, о нем слава, подобные обращения ему не внове, остается нести крест своей репутации. Но суть была в том, что его и впрямь растрогал этот голос, этот голосок. Казалось, с ним говорит дитя. Он понимал, что это не так, — уже пять лет, как она защитила диплом, — и все же он видел пред собою ребенка, которого обстоятельства загнали в угол. Видел худенькую фигурку, худые руки, спутанные волосы, испуганные глаза, видел ясно, резко, на диво отчетливо, точные штрихи довершали портрет. И он только головой покачал: как-то ей жить с такой беззащитностью!

— Как вас зовут? — спросил он.

— Меня? — его вопрос словно сильно смутил ее.

— Разумеется, вас, — сказал он с добродушной грубостью, — есть же у вас имя.

— Да, конечно, — заторопилась она. — Лариса.

— А по батюшке?

Она ужаснулась:

— Да зачем же? Просто Лариса...

— Послушайте, — сказал он помягше, — если я буду о вас говорить, я должен по крайней мере вас называть. Имя, отчество, фамилию. Запинаясь, она ответила.

— Теперь скажите мне номер вашего телефона.

Она вновь точно захлебнулась воздухом.

— Да бог с вами... я позвоню сама... когда вы назначите... да что вы...

И долго путалась в бессвязных вскриках.

— На всякий случай, — остановил он поток. — Вдруг вы понадобится. Побыстрей. Я записываю.

Еле слышно она назвала цифры.

— Хорошо, — он взял энергичный тон, чтобы прервать возможные излияния. — Все понятно. Не будем терять времени.

«Ну вот и поиграл в делового человека, — усмехнулся он, положив трубку. — Этакий менеджер: время — деньги. Небось она думает, что сейчас я уже решаю глобальные проблемы, некогда головы приподнять. А я сижу, посматриваю в окно, вижу городской пейзажик, говоря по правде, поднадоевший, и думаю о ее звонке. Даже произнести свое отчество ей показалось амбициозным. А при мысли, что я могу сам позвонить, она едва не лишилась чувств. Все-таки трудно на этом свете быть одинокой молодой женщиной, вообще молодость нелегка. Золотая пора, золотая пора, повторяем, как попугаи. С чего бы ей быть такой золотой, когда испытываешь ежечасную зависимость? От чьего-то суждения и настроения, от поведения чьих-то кишок, от чьей-то бессмысленной антипатии, от безразличия в конце концов и мало ли еще от чего!»

Ему и сейчас не так-то просто, но по крайней мере затвердели нервы, стали, как ржавые провода, — больше металла, чем способности реагировать, — к тому же теперь есть тылы, опоры, да и наука побеждать освоена с грехом пополам, научился издали чутя угрозу, упреждать, парировать, а на худой конец переносить поражение с наименьшими потерями, не то что в те бесправные годы, когда любая неудача казалась катастрофой. Нет, бог с ней, с юностью, слишком тяжело далась, слишком много у него отняла.

Он снова вызвал в сознании облик, подсказанный ее прерывистым голосом, — испуганные глаза, худые руки, которые ей, должно быть, мешают — неизвестно, куда их деть. Сердце его болезненно сжалось: где ей выдюжить в этом марафоне!

Через день он встретился на открытии выставки с руководителем мастерской и, отведя в сторонку, попросил принять девушку. И когда тот понимающе поднял свои гляделки удачливого конокрада, Владимир Сергеевич поспешно помотал головой, нет, нет, вовсе не то, о чем ты думаешь, бескорыстный гуманизм в чистом виде.

Следующее утро было субботним, никуда не надо было спешить, он сидел и подумывал, не махнуть ли за город. Многие его приятели регулярно наносили эти визиты природе, уверяя, что после чувствуют себя возрожденными. Но всякая обязательность настораживала, еще один плен, еще одна необходимость, да и эта робкая городская игра с подмошковым снежком казалась несерьезной, как всякий ритуал.

Он полистал газеты, прочел несколько страниц повести, о которой в течение последнего месяца было принято спорить, отложил и ее. И неожиданно для себя самого подвинул к себе аппарат, набрал номер,

хоть и сознавал, что такой отклик поспешен, у всяких отношений есть свой стиль, здесь требовалась большая протяженность во времени.

Оставалось прибегнуть к иронии в свой адрес, то была привычная защита, и он спросил себя: что, друг мой, приятно побыть четверть часа-ка Гарун-аль-Рашидом?

Взывали гудки, но никто не спешил отозваться, он подумал с некоторым неудовольствием, куда это она упорхнула, точно та должна была круглые сутки неподвижно сидеть у телефона. Потом догадался: коммунальная квартира, соседи демонстрируют друг другу выдержку.

Он терпеливо ждал, трубку сняли, старушечий голос пробурчал:

— Кого вам?

— Ларису Георгиевну.

Пауза. Потом старуха раздраженно крикнула: «Лара!»

Еще какое-то время прошло, не торопится, однако, меня манежат, но вот и шаги, неясный разговор, слов не понять, наконец донеслось:

— Да?

Он растерялся. Это был другой, совсем другой голос. Низкий, чуть даже хрипловатый, недовольный и — что его поразило — властный.

Он усомнился и повторил:

— Лариса Георгиевна?

Все так же недобро она ответила:

— Ну я, я.

«Нет, не она, — подумал он, — быть не может. Все иное».

Помедлив, он все же себя назвал.

Было долгое, непонятное молчание, и вдруг тот далекий, позавчерашний, захлебывающийся голосок, почти невнятный от волнения, переспросил:

— Владимир Сергееч?

Он подумал, что, верно, и его голос претерпел изменения — стал нерешительным.

— Да, это я, — сказал он.

Она заторопилась, заговорила растерянно, сбивчиво, просила прощения, что заставила ждать. Он уже овладел собою и, прервав ее, сдержанно изложил, когда и к кому ей надлежит обратиться.

Еле дыша, она повторяла:

— Поняла... Ах, боже мой... Ну, какой вы...

Когда он кончил, она обрушила на него целый водопад стремительных, обгоняющих друг друга слов, благодарила, благодарила.

Он сказал:

— Ну что же. Всего хорошего.

И повесил трубку.

Потом сидел в кресле, прикрыв глаза, с тем странным колющим ощущением, которое возникало от досадного промаха, ложного шага.

Стараясь вернуть себе равновесие, пробовал не спеша рассуждать:

«Но, может быть, все это я сочинил. На ровном месте. Мне дай только волю. В таком случае любопытно, что она сейчас думает. Она яв-

но чего-то ждала, когда я дал отбой. Да, вполне возможно, что я насочинил невесть что. Но откуда эти нетерпеливые ноты избалованной красоты? Эта хриплость, за которой табачный дым, перепой и поздний сон, оборванный моим звонком. А главное — командирская резкость, которая не приходит сразу? И то злое, что я почувствовал с ходу?»

Она спросила: да? Одно словцо, один слог, две жалкие буквы, но это было как удар хлыста. И сразу же, через какой-то миг, тот же беспомощный детский зов, тот же чуть слышный, обреченный шелест.

Как могут ужиться в одном существе два таких голоса? Невероятно!

Но сколько он себя ни убеждал, что все это придуманный вздор, игра разгулявшегося воображения, образ, который он вызвал к жизни и к которому, как выяснилось, успел привыкнуть, образ этот упрямо двоился, и худенькие бледные руки уже принадлежали совсем другому, крупному и гладкому телу, а жалко спутавшиеся кудряшки вдруг оказывались на новом лице — надменном, презрительном, с броскими чертами. Чушь, бессмыслица, помрачение ума!

Он запретил себе думать об этом случае, но, помимо его воли, оба голоса нет-нет и оживали. А когда ему доводилось встречаться с руководителем мастерской и тот косил на него темным цыгановатым глазом, Владимир Сергеевич внезапно краснел и испытывал к самому себе непонятную неприязнь.

\* \*  
\*

Ранней весной Владимир Сергеевич оказался в курортном городе. Приехал он не на отдых, а по делам, но оставалось время и для досужих мыслей. Вдруг подумал, что надо бы позвонить некой славной даме — такое внимание, безусловно, доставит ей много радости.

На переговорном пункте было столько народу, что Владимир Сергеевич решил сначала отказаться от благого намерения, но выяснилось, что почти все ждут вызова, а у кабинок прямой связи охотников было не так уж много. Он пристроился у одной из них, разглядывал людей, заполнивших длинный, словно вытянутый зал. Занятно бы узнать, что их сюда привело, заставляет подолгу ждать соединения, пускать на ветер бесценное отпускное время. Неотложное дело, душевные бури, глупая учтивость, как в его случае? Или вдруг затосковал человек и знакомый голос для него как защита?

Вот тот, долговязый, редковолосый, с трехдневной щетиной на впалых щеках, с прикрытыми веками, с руками в карманах, или эта блондинка с отчетным лицом, с обижено сомкнутыми губами, — зачем они здесь? Можно только гадать.

Кабинка освободилась, он вошел, сел за чуть скошенный похожий на школьную парту пульт и набрал знакомый номер. Ему ответили короткие гудки.

«Беседует, — он усмехнулся, ее страсть к длинным телефонным излияниям была предметом его постоянных шуток, — безнадежное дело».

Через тонкую стенку из соседней кельи доносился негромкий мужской голос. Он снова привел в движение диск, сделал это и в третий, и в четвертый раз — все с тем же результатом. Занято.

И уже сожалел, что пришел. Вообще-то женщина была тактична, достаточно сдержанна, но нечто неуловимое, неприятно царапавший подтекст всегда возникал за ее словами. Какая-то чеховщина, будто мы в театре, но, спохватившись, что злиться заранее достаточно глупо, меланхолически подумал:

«Похоже, я отвык не только от выяснения отношений. От самих отношений — тоже».

Снова занято. И опять занято.

— Дам-ка я ей телеграмму: «Повесь трубку», — проворчал он.

Но остался сидеть неподвижно. Голос за стенкой продолжал звучать, и Владимир Сергеевич вдруг понял, что прислушивается к этому тихому баритону с характерным северным оканьем.

— Слышу, очень хорошо тебя слышу. Нет, здесь очень удобная связь, прямой набор. Даже без кода. Все очень удобно. А ты, значит, дома? Очень удачно получилось.

«Везет же людям, — вздохнул Владимир Сергеевич. — Связь прямая. Сама она дома. Телефон не занят. Все складывается как нельзя лучше».

— Как Вовочка? — спрашивал баритон. — Так. Отлично. В цирк, говоришь? С Ильей Андреичем? Очень радовался? Надо бы ему все-таки вылежать. А мама? Ну, очень хорошо. Ты все-таки ее навести. Ей будет приятно. Соня приехала? У Ильи Андреича утряслось?

«Всюду жизнь, — кивал в такт его словам Владимир Сергеевич, — свои радости и заботы».

Мысль не отличалась свежестью, но из этого общего места исходило нечто умиротворяющее.

«Как из всех общих мест», — добавил он про себя.

— Что делать, — мягко сказал сосед. — Надо войти в ее положение. Все-таки для нее неожиданность. Вот и нервничает. Это пройдет. Пусть с ней Илья Андреич поласковой. Я понимаю, что ты устала. Знаю, милая. Перетерпи.

«Экий благостный мужичок, — улыбнулся Владимир Сергеевич. — Прямо-таки Лука-утешитель. Умреем с возрастом, что говорить. Впрочем, что остается к старости? Только советовать да наставлять».

— А ты-то сама как себя чувствуешь? — озабоченно попытывался человек за стенкой. — Вот это уж никуда не годится. Ты уж послезивай за собой. Ты у нас умница, на тебя вся надежда. Ну, ничего, ничего... Бог даст... Приеду, разведемся, и все наладится. Здесь сапожки красивые, тебе взять? Темно-синие. Да, на «молнии». Понял. Ясно. Ну, хорошо. Будь здорова, родная. До встречи.

Дверца хлопнула. Владимир Сергеевич сидел, держа руку на трубке, так и не сняв ее. Человек прошел мимо. Мелькнули большие, смахи-

вающие на грабли руки, потом — склоненная спина привычно сутулящегося великана.

И вдруг обернулся, замер, застыл, точно внезапно обнаружил пропажу.

Владимир Сергеевич быстро опустил голову, боясь увидеть его лицо.

\* \*

\*

В дрянную осеннюю пору Владимир Сергеевич возвращался в Москву. Ехал в поезде, за окном мелькала сырая рыхлая земля, раздетые деревья, мокрые платформы, люди с озабоченными, нахмуренными лицами, — когда сеет изнурительный дождь, они редко бывают другими, — и вновь печальные поля и влажные рощи. Потом упал вечер, и все стало темным и неразличимым.

Смешное и грустное было в том, что именно в этот дорожный день Владимир Сергеевич отмечал свою очередную годовщину. Разумеется, при некотором старании он мог бы выехать на день-другой раньше, но с некоторых пор торжественные числа стали его раздражать, отмечать юбилеи, тем более праздновать их казалось ему пустым и неоправданным занятием. Что отмечать и что праздновать? Неужели то, что жизнь так стремительно катится под откос? Между тем, когда-то эти дни были для него исполнены значения. В детстве так вообще едва ли не месяц был окрашен приближением этой даты. С утра в доме стоял веселый гомон, мать и тетка, которая всегда была палочкой-выручалочкой, пекли пироги, раздвигали стол в большой комнате, к вечеру приходили гости, сначала их приводили папы и мамы, спустя несколько лет они являлись сами, а родители тактично покидали дом. Было шумно и бестолково, принаряженные девочки казались преображенными, и вдруг поднималось, сладко тревожа, странное, невятное чувство. Хороши были и юношеские сборища — споры, шутки и возлияния, расходились чуть не на заре, но никто не чувствовал усталости; свежесть, нерастраченность, игра сил. Все они отлично знали то, что знает каждое поколение: именно им предстоит сказать долгожданное новое слово. В зрелые годы юбилейные застолья были уже не только приятными антрактами в действе, в коем он принимал участие. Они несли на себе и некую дополнительную нагрузку, были продолжением другой игры, той, в которую неизбежно втягиваются деятельные, идущие в гору люди. В доме появились новые, часто неожиданные, гости, а из тех, кто привык приходить в этот день, удалось сберечь совсем немногих. Одни из друзей стали недругами, другие умерли, третьи вдруг растворились в круговороте. Ничего не случилось и не стряслось, просто из отношений точно выпустили воздух, как из веселого цветного шара, и они сморщились и слиняли. Вместо большого, смелого, яркого, всегда готового взлететь над буднями осталась жалкая, бессильная резинка.

Владимир Сергеевич сам не понял, как он принял это решение — провести день рождения в поезде. Дело было, разумеется, не в бунте против условности, ни тем более в протесте, о котором никто бы не догадался. Все было проще и хуже: он испытывал ту дистрофию духа, при которой и скромное напряжение кажется непомерной ношей. И сейчас, укрывшись в тряском вагоне, глядя, как быстро темнеет снаружи, он чувствовал тайное удовлетворение.

Все-таки он прошел в вагон-ресторан, спросил вина, но там было дымно и шумно, даже публичное одиночество было невозможно, он торопливо хлебнул из стакана, хмуро сказал себе: за ваше здоровье, и вернулся в свое купе. Сосед дремал, с разговорами, слава богу, не лез, лег и он, потушив свет. Сон, однако, не шел, и идея отметить свою годовщину в пути мало-помалу перестала ему казаться столь удачной, как по первому взгляду. Нечего сказать, хорош итог, загнать себя в угол, не найти ни единого существа, с которым можно было отметить еще один взятый перевал, подбить бабки, отогреться, пусть даже погоревать. Зачем и для чего он в вагоне? В этом нет даже некоторого разнообразия. Ездить ему приходилось много, ничуть не меньше, чем жить в Москве, и не меньше, чем от столичной гонки, он устал от частых передвижений, в которых была своя бессмысленность. Стучали колеса, мелькали лица, всплывали какие-то имена, обрывки событий, обрывки слов. «Эко память на мне отплясывает, — подумал Владимир Сергеевич мрачно, — слишком перенаселен мой мир».

Совсем недавно в одном журнале прочел он статейку о долгожителях. Автор, известный французский врач, приходил к выводу, что их секрет — в жизни, свободной от слишком частых и слишком пестрых впечатлений. Постоянство. Один день похож на другой, те же дела и те же люди, тот же устойчивый распорядок.

«Я-то долго не протяну, — усмехнулся Владимир Сергеевич. — Непоседлив был. А уж народу пропустил сквозь себя...» Люди не задерживались. Встречались, словно на перегоне, как на эскалаторе в метро. Только заглянешь ему в глаза, а лестница уже тянет дальше — одного вверх, другого вниз.

А какими прочными казались человеческие связи! Какими пламенными были дружбы, не говоря уже о влюбленностях! И что осталось? Одни взаимные антипатии. Столько лишнего сделано, пережито, произнесено вслух.

— Страшновато, — пробормотал он чуть слышно. Если б знать, что еще ждет поворот, за которым лежит ему неизвестная, что-то сулящая часть пути. Почему-то в это не слишком верится. — Страшновато, — повторил он чуть громче, и на соседней койке зашевелился попутчик.

В том-то и дело, что уж не верится. Пока нам верится и надеется, мы еще не знаем, что такое страх.

Подумалось вдруг, как часто в молодости удивляла и раздражала переписка разных великих старцев, их дневники, их рассуждения, неистовое и странное одновременно стремление решить вопросы, которые, по

его убеждению, были давным-давно решены. В этих бесчисленных «Зачем жил?», «Что останется от меня, когда я перешагну порог?», в особенности же в опостылевшем «В чем смысл моего бытия?» — во всех этих горьких заклинаниях, слишком патетических, чтобы быть естественными, ему чудились претензия и многозначительность. «Жизнь на котурнах», — морщился он то и дело. И с некоторой досадой ставил книгу на место. Возвращаясь к своим молодым делам, он почти не вспоминал тех давно отзвучавших возгласов, а если вспоминал, то с чувством неудовольствия и тайного превосходства.

Теперь, размышляя об этом, он тоже морщился, но уже не от превосходства, а от стыда.

«Дурачок», — думал он грустно.

Он задремал, а когда проснулся, поезд стоял на безвестной станции. Сосед безмятежно спал, уткнувшись в подушку, а за окном по-прежнему была ночь. И вдруг, усиленный динамиком, над станцией разнесся женский голос: «...Поезд семьдесят шестой отходит с третьей платформы».

Владимир Сергеевич даже вздрогнул, голос был удивительной красоты, редкого по богатству тембра, ему еще не приходилось слышать такого глубокого, как бы опирающегося на низкие ноты, и одновременно хрустальной чистоты звука. Голос придавал обычной информации какой-то неожиданный смысл, непредугаданную поэзию, лирическая сила, заключенная в нем, делала обычные слова почти стихами.

— Поезд семьдесят шестой

Отходит с третьей платформы... — повторил Владимир Сергеевич, мысленно разбив фразу на две строки, обнаруживая таившийся в ней ритм.

— Поезд семьдесят шестой

Отходит с третьей платформы...

Хотелось продолжать, а еще лучше услышать от нее, куда уходит поезд, что ждет его в пути, в неведомых краях.

Словно почувствовав эту произнесенную просьбу, женщина заговорила вновь, сделала несколько объявлений, потом сказала: «Третья бригада, поднимитесь к дежурному. Третья бригада, поднимитесь к дежурному».

Она помедлила, потом спросила:

«Третья бригада, вы меня слышите?»

— Еще бы не слышать, — вздохнул Владимир Сергеевич, — кого же и слушать, как не тебя?

И тихонько повторил нараспев:

— Третья бригада, вы меня слышите?

Оказалось, что и эта фраза звучала строкой из стихотворения — зов, мольба: где ты, третья бригада? Откликнись, я жду.

— Какое-то колдовство, — пробормотал он, приподнявшись на койке, — у нее любое слово становится музыкой.

А главное, стоит ей произнести его вслух, в этом слове высвечивается какой-то объем, непонятная, тайная суть. А с тобой происходит нечто странное, возжигается душа, раскручивается мысль,— в старину это называлось наитием. Ах ты, дьявольщина, хоть бы взглянуть на нее...

Неясное, осторожное движение, точно зыбь по волне, прошло по вагону, и он понял, что состав сейчас тронется.

Неожиданно, совсем по-домашнему, голос попросил: «Алексей Петрович, зайдите ко мне».

И в тот же миг — чуть вперед, чуть назад, и снова вперед, мягчайше, мягко, тихо, едва касаясь рельсов, и все реальнее, все резче, громче, громче, набирая скорость, поезд помчался в ночь, в дождь.

«И все же,— вертелся он с боку на бок,— как же все-таки она выглядит? Не может такой голос существовать отдельно от той, кому он принадлежит. Царевна-лебедь, никак не иначе. И во лбу звезда горит. Да нет, не царевна. Царица-лебедь. Лет ей за тридцать. Прекрасная зрелость».

Он представил себе тесную комнатенку и ее у динамика, платок на плечах, черный обруч косы вокруг головы, длинные мускулистые ноги, она их вытянула и греет, держа на весу над включенным рефлектором, загадочно мерцают темные зрачки.

И верно же, есть у нее семья? Старики родители, муж, дети? Кто ж этот муж? К кому она возвращается после своего ночного дежурства? Кто этот Алексей Петрович, которого она просила зайти? Эти люди, работающие с ней бок о бок? Как они слушают ежедневно ее голос? Неужели привыкли?

— Да, весело мне сейчас, ох весело, удался юбилей, ничего не скажешь,— бормотал он, пробую усмехнуться.

Поезд уносил его все дальше и дальше. Надо было встать, узнать, что за станция. Но не встал, не узнал, даже не взглянул на часы. Лежал с открытыми глазами, ежась от беспричинной тоски.

\* \*  
\*  
.

— Так ты берешь трубку? — спросила дочь.

— Уже взял.

— Владимир Сергеевич, приветствую вас. Не старайтесь, все равно не узнаете. Банюшевский. Встречались на совещании в Саратове. Боюсь, вы не помните меня. Впрочем, это не так уж важно. Хочу вас обременить, дорогой человек, одной просьбой. Даже не просьбой, а просьбищей. Дело, видите ли, в том...

Он говорил что-то еще, Владимир Сергеевич слушал голос, но уже вовсе не слышал слов.

Голос казался каким-то плюшевым — гладок, а по-своему тверд, — и слова на ощупь, как плюш, тяжело шуршащие и поблескивающие, точное их начистили щеткой. Он не мог заставить себя вникнуть в их суть,

видел тонкие улыбающиеся губы, улыбающиеся глаза, раздвинутые в улыбке ноздри. Улыбкою стало все лицо, вдруг утратившее свои особенности. И, чтоб заслониться от этой улыбки, грозящей накрыть его с головой, плохо соображая, что он делает, Владимир Сергеевич повесил трубку.

...— Алло?! Владимир Сергеевич, вы? Нас тут случайно разъединили..

— Да. Какое-то недоразумение. Повторите. Я слушаю вас.

## КРАПИВНИЦА

Все были веселы и довольны. Его радовало доброжелательство спутников, их всамделишное, ненатужное уважение. А молодых архитекторов возбуждала свобода в общении с московским арбитром, чувство сближения, вдруг возникшее. Не панибратство, упаси боже, и не забвение дистанции, но... самую малость ослабла узда. Все кончилось наилучшим образом, в них признали профессионалов, а все профессионалы равны. И все же природа их веселья была скорее физиологической — они были молоды, а погода — отменной. Жарко, а не жара, не жарница, нет духоты, ветерок нежит, до моря — рукой подать, а от него исходят и мир, и беспредельность. Так же воспринимается жизнь — беспредельность и мир. А если вам хочется поиграть вторым значением этого слова, — извольте: жизнь беспредельна, как мир. «Вот она главная причина «беспричинной радости этого возраста», — с грустью подумал Владимир Сергеевич.

— Широко шагаете, молодые бандиты, — сказал он, покачивая головой. — Этак совсем стариков задвинете.

Нынче он сам, соблюдая корректность и неписанные правила поведения, помог обаятельным наглем «задвинуть» туземных ветеранов. Ни чувство единой генерации, ни возрастная солидарность не подавляли в нем раздражения от встречи с местными корифеями. Самодовольство и ограниченность — не лучшие наши приобретения.

Молодых бандитов его слова необычайно воодушевили. Они заверили, что им всего и осталось спроектировать почту и телеграф, чтобы окончательно захватить город.

Он вспоминал себя в их пору и делал невольные сопоставления. Молодые люди в любые эпохи и похожи, и непохожи. Общего столько же, сколько и разного. Они уверены в себе точно так же, как были уверены мы, но, несмотря на все декларации, не так уж рвутся к командным высотам, как люди моего поколения. Он вспомнил то дурманное время. Косяком шли юные завоеватели — поэты, художники, композиторы, создатели экстравагантной прозы и не менее экстравагантных проектов. Жизнелюбивые, прогрессивные, ценящие и свой успех, и материальную независимость, и так называемые культурные связи. Быстро учили языки, наращивали бицепсы, играли с огнем. Некоторые, правда,

заигрывались. Искусство отказывается быть средством, а не целью, а дарование, ежели оно велико, отказывается служить обладателю — вдруг, неожиданно для себя, он начинает служить ему. Тогда происходит непредвиденное. Но чаще всего они оказывались просто способными людьми или очень способными, не больше, и умели с толком распорядиться тем, что им отпустила природа.

Эти были, пожалуй, другими. Десятилетия, нас разделившие, понятно, не прошли без следа. Мы были зрелее наших отцов, они зрелее нашего брата. Ничего удивительного. Опыт прошлого закладывается в генетический код. Поэтому они и моложе, и старше. Моложе на три десятилетия, но старше на три исторических периода. Многое, бывшее для нас абсолютным, или почти абсолютным, для них относительно. Что-то они отметут с порога, что-то возьмут и приумножат. А в чем-то, возможно, они обделенней, должно же быть и у нас утешение.

Но их подчеркнутая почтительность была — он это чувствовал — искренней. Что хотя и было приятно, но как всегда его удивляло, пусть он ничем это не выказывал, принимал, как должное и естественное. Очень долго среди коллег, среди приятелей и знакомых он, скороспелка, был самым юным, привык и, похоже, не мог отвыкнуть. До сих пор уважение к его статусу и уж тем более к его возрасту кажется странной мистификацией, какой-то забавной игрой.

Но показывать это было нельзя, и с годами выработанная интонация — смесь иронии и благодушия — давно и надежно его защищала.

Он сказал:

- Я задумал одно предприятие. Но тут потребуется отвага.
- Отваги у нас навалом. Вагоны. Куда идти?
- Поведете вы. Я же вам назову адрес. Дарвина, сорок один.
- Улицу знаем, а дом найдем.

\* \*  
\*

Один лишь раз в жизни он был в этом городе, примерно полвека назад, малолетком. Приплыл на знаменитом корабле «Грузия», совершавшем рейсы сюда из Батуми. (Из Батума — так тогда говорили.) В пути им встретился корабль-близнец, такой же популярности — «Крым», он, напротив, возвращался в Батум. «Крым» и «Грузия» отсалютовали друг другу.

Город он помнил совсем смутно. Осталось ощущение нового Юга, незнакомого, необычного Юга. Нового — потому, что он сам был южанином с головы до пяток. Но его Юг был совершенно другим. Там ветры были иступленнее, суше, они засыпали его город серой пылью и коричневатым песком. Беспощаднее, жарче было и солнце, под ним трескалась почва и плавился асфальт. Когда обрушивался на улицы зной, даже море не дарило прохлады, даром оно хранило в себе запасы будущего горячего, словно нехотя било мазутной волной в бешено пламе-

невший берег. Зато в его Юге было больше величия и неприступности — от гор ли Кавказа, от сванских гор, от горных азербайджанских озер, от могучего армянского камня? Они отгораживали его Юг от подступавших снежных равнин обнявшей две части света страны. То был Юг неуступчивый, неприрученный, поныне не сдавшийся человеку.

А здесь был другой, особый Юг. С некоторой томной ленцой раскинувшийся под синим пологом. И солнце его было щедрым, но ласковым, исцеляющим тоску и хандру. Было нечто доверчивое и распахнутое в том, как он себя предлагал пришельцу, оглушенному бойкой разноречивой речью. Гордости и неприступности не было — скорее бойкая амбиция от ощущения своей osobosti, но и она была доверчивой и простодушной, со своим обаянием. Величественности нет и в помине, зато есть грация, блеск и шик. Во всем невообразимая смесь украинского, русского и молдавского. Воздух подступавших степей, настоянный на травах, сливался с воздухом побережья, пахнувшим солью, йодом, ветром.

Однако же было и нечто общее, позволившее ему, ребенку, понять, что он не в гостях, а дома. Не только море, не только порт, не только тепло, и свет, и краски — прежде всего эта страсть к жизни — не тяга, даже и не любовь, нет, именно страсть с ее азартом, веселой яростью и одержимостью, с поистине неутолимой жаждой поглощения каждой минуты. Осушить ее, вычерпать всю, до донышка, не расплескать, не упустить!

И пусть сам город был точно размыт, однако какие-то сполохи, пятна застряли в памяти на столько-то лет! Улица Дарвина в то время звалась Полтавской, но номер дома остался тот же — он это знал. Сам дом забылся, но запомнилась комнатка в квартире дедка, к которому его привезли. В этой комнатке его поместили, и, когда он вдруг приболел, дня на два или три, он смотрел в окно, длинное, узкое, видел двор, в углу там было нечто забавное, что смешило его чуть не до колик. Он не мог припомнить, что это было.

Дед был учителем рисования, кроме того, собственноручно приготавливал различные краски; когда внук захворал, дед занимал его весьма ответственным поручением: дал надписывать небольшие пакетики. Краски носили необычные, хотя и понятные названия: малиновая, серебряная, свинцовая. Дед объяснил ему, что названия, к которым он привык, приблизительны и плохо выражают цвет краски. Когда однажды он вдруг нарек желтый цвет лимонным, дед был доволен. Непонятным было словечко «кубовая», которое дед велел надписать на одном из пакетов, — почему «кубовая»? Дед объяснил, но он забыл.

Но не только угловое окно, не только двор, — он помнил еще и застекленные галереи, каштаны на улицах, июльский вечер, пляску огней и движение толпы, почему-то похожее на качку. Ему объяснили, что он идет по знаменитейшей улице города, которую знают во всем мире. Все это воспринималось, как чудо. Совсем как звучание двух вешних слов: Итальянский бульвар. «И-таль-янский-буль-вар», — долго тянул он, точно

так же, как холодный фруктовый сок. Этим соком его поили за городом, в парке, куда он отправился с матерью, когда наконец одолел свою хворь. Что осталось от этой поездки? Звон трамвая, аллеи, игра в серсо, сияющие вечерние улицы, раскрытые окна, из которых, как голуби из рукава чародея, звонко выпархивали мелодии. Там играют на скрипке, там — на рояле, а из этого — гремит патефон. В комнатах первых этажей он видел накрытые столы под желтыми и розовыми абажурами, слышал громкую торопливую речь — похоже, что вся эта чужая жизнь была словно выставлена на обозрение, словно вокруг шумел карнавал.

Нынешний город отличался от прежнего, но не только иными названиями улиц, чего он всегда не одобрял, ощущая остро почти мистическую, животворящую силу преемственности. Город стал менее домашним и звучным, хотя численно он вырос в два раза. И горожане, как и новые здания, не вызвали тогдашнего чувства их особенности и непохожести. Вырабатывается единый тип и районов, и их застроек, и населяющих их людей, подумал он — в который уж раз! — не без грусти.

\* \*  
\*

Он поделился этим наблюдением со своими спутниками. Он сказал, что французы ревнивей берегут свое прошлое. Молодые люди застрекотали:

— Французы? И они отличились! От французов все и пошло.

— В том веке — Эйфель. А в нашем хотя бы Ле Корбюзье, потом Куэзль.

— Зачем забираться так далеко? Можно назвать что и поближе. Вспомните центр Помпиду.

— Спокойно, дети! — он поднял руку и, когда они отхохотались, сказал:

— Согласен. Примеры можно умножить. Разумеется, центр Помпиду в Бобуре — неоспоримый аргумент. Снаружи — нефтеперегонный завод. Правда, внутри весьма впечатляет. Но дело не в этом. У них эти здания в чем-то вынужденная уступка эпохе. А у нас сохранение старины — уступка общественному мнению. Как видите, разница принципиальная. Впрочем, дело не только в застройке. Они вообще коллекционируют все, что мечено особой приметой. Нивелировка не в чести. Знаете, есть такие гурманы, для них приправа важнее мяса. Вот и они такие же лакомки в том, что касается внешних форм, быта, традиций, занятных обычаев, вкусных названий, всяких чудачеств. Само собой, тут деловой подход, коммерческий дух, все на продажу. И все же, не только. Уж как хотите, а есть безусловное чувство истории.

— Что поделаешь? — с шутовским вздохом развел руками смуглый брюнет, посверкивая озорными глазенками. — Населению не сидится на месте. А пришельцы не жалуют своеобразие.

— Вот именно,— подхватил другой.— У нас неточная терминология. Село перемещается в город, и это с легкой руки социологов называется урбанизацией. Все обстоит наоборот.

Мысль эта развеселила всех, и молодые острословы стали сразу же импровизировать сценки о том, как нынешние горожане утратят свойственные им признаки и их нельзя будет отличить от селян.

\* \*  
\*

И все же больше всего запомнились не встречи с прославленными улицами, не праздничное состояние духа, не загородный парк и серсо; значительно резче и отчетливей застряла в памяти та болезнь, а если еще точнее — та ночь.

С вечера было не по себе, ныли виски, моментами чудилось, что их медленно сжимают щипцами, горели щеки, и бил озноб. Решено было, что он простудился, простыл, ну, конечно же, перебрал мороженого, сладчайшего (продавец доставал из длинного блестящего чана обольстительные серебристые шарики и лихо припечатывал их — сверху и снизу — вафельными кружочками). Его раньше обычного уложили, мать дала ему аспирин, в комнате погасили свет, теперь лишь овальная луна, похожая на золотую дыню, освещала двор и противоположную стену. Он подумал, что, чем он скорее заснет, тем быстрее ему полегчает. К тому времени он уж придумал средство получать удовольствие от погружения из бодрствования в сон.

Он вызывал в своем сознании неизменно одну и ту же картину: бушует немыслимая гроза, а он, израненный и продрогший, вымотанный дорогой так, что едва-едва стоит на ногах, добирается до какой-то крепости. За ним гонятся, но за крепостными воротами друзья, и они успевают впустить его и закрыть ворота перед преследователями в последнее роковое мгновение. А потом перевязывают его раны, поят и кормят, стелят постель. И, накрывшись с головой одеялом, он лежит в безопасности и тепле, счастливый от мысли, что наконец спасся от грозы и погони. От этого дивного перехода из одного состояния в другое — от холода и неприкаянности к теплу и защите — всегда возникало на редкость острое наслаждение. И вот каждый вечер, перед тем как заснуть, он раскручивал, точно в замедленной съемке, все кадры этого странного фильма, испытывая неизменную радость.

Но на сей раз проверенный сюжет не помог, а сон, в конце концов оглушив, лишь усугубил его терзания. Тяжелый, изнурительный, рванный, с нелепыми темными поворотами. По-прежнему сводило виски и вязко пересыхало горло.

И вдруг небывалое ощущение заставило его разом проснуться. Он приподнялся на постели, не понимая, что с ним творится. Было ясно одно — нечто ужасное. Какая-то мощная пятерня словно схватила его лицо и жестко стягивала с него кожу, сжимая ее в один комок, — каза-

лось, она сдирает скаल्प. Было больно, но главным образом страшно. Он спрыгнул с кровати и боязливо щелкнул выключателем. Зажегся свет. Теперь можно было взглянуть на себя в зеркало, но он медлил, он знал, что вместо лица будет что-то страшное, личина, маска. Но отступить он тоже не мог и принудил себя поднять глаза.

То, что он увидел, было кошмарней, чем его опасливые ожидания. На него глядело чужое, крохотное, величиной с сушеную сливу, такое же сморщенное, коричневатое-желтое личико дряхлого уродца. Не было никакого сомнения, что оно принадлежит существу, прожившему на земле сто лет, к тому же на грани превращения в какую-то мерзкую смрадную крысу.

Он закричал, забиваясь в угол, и когда в комнату, опережая мать, вбежал дед, всклокоченный, в нижнем белье, он все мотал головой, с трудом выталкивая из горла нечленораздельные звуки и лишь показывая пальцем на зеркало. Прошло, наверное, с полминуты, пока он сумел произнести:

— Дед, я стал старик!  
И заплакал.

Утром кожаца постепенно стала оттягиваться на свое место, а в полдень к нему явился врач, лысый, розовый, пахнувший не то мятой, не то зубным порошком «Хлородонт», и стал пухлыми розовыми ладонями, покрытыми с наружной стороны рыжим волосом, словно разглаживать его щеки, уже потерявшие желтый цвет, вновь ставшие двумя крепкими мячиками. И он уже чувствовал себя здоровым, было стыдно за все это наваждение, за слезы, за свой недостойный страх.

— Испугался, молодой человек? — спросил доктор и коротко объяснил деду с матерью и ему, что то была острая форма крапивницы, что это коварная реакция нашего сложного организма на то, что ему противопоказано, в общем же ничего серьезного — денек-другой проведет дома, и снова будет здоров и весел.

Так все и было, спустя два дня мама повезла его за город, и он играл в парке в серсо.

\* \*  
\*

Дважды тогда спросил он деда, отчего тот живет отдельно от них. Дед терпеливо объяснял, что старики не должны жить с молодыми. Почему не должны, он понять не мог, но сердце его саднило от жалости. Дед и впрямь казался ему старым, человеком другого века (он и был им), а на самом-то деле был моложе его, теперешнего, тоже деда (сам он немного кокетничал этим званием, чувствуя себя мужчиной в соку). Да и переход в новое качество свершился так быстро, что до сих пор он не успел к нему привыкнуть.

Каких-то четыре года назад позвонила прежняя его супруга и своим высоким прерывистым голосом, который давно его раздражал, попроси-

ла его скорее приехать. Был он как на грех сильно занят — впрочем, занят он был всегда, — и ей пришлось долго объяснять, что дело не терпит отлагательства. Он приехал, сердитый и недовольный, она кинулась к нему на грудь, осунувшаяся, с красными глазами (исплакалась), и сообщила, что Вероника выходит замуж, что молодой человек произвел безотрадное впечатление, развязан, невоспитан и груб, но ужас в том, что дочь ждет ребенка, они, как выяснилось, провели вместе лето, давно близки, что делать, росла без отца, а мать для нее — не авторитет.

— Ничего удивительного, — подумал он кисло и поспешно от нее отстранился. Всякий раз, когда он смотрел на нее, он дивился тому, что когда-то увлекся, женился, что эта скучная женщина однажды родила ему дочь. Что нашел он в ней, кроме округлых форм и мягкости, отлетевшей так быстро! Безответность и радостную готовность соглашаться с каждым его суждением, с каждым словом? Свойства весьма привлекательные, однако и они приедаются. Тем более когда нет других. Плоское, тусклое существо, воплощенное общее место. Господи, как глупы мужчины.

Он не мог взять в толк, чем может помочь. Вероника быстро ему объяснила, что она и Артем — вместе с первого курса и это достаточный испытательный срок, они, таким образом, защитили и теперь получают второй диплом — он называется свидетельством о браке.

Артем оказался шумливым малым, к тому же записным остряком, до чрезвычайности самоуверенным. Он был моложе Вероники на восемь месяцев и, видно, поэтому подчеркивал свою мужественность и бывалость. У него был толстый бритый затылок и словно бы вдавленный боксерский нос, хотя спортом он вовсе не занимался. Пожалуй, это был первый случай, когда Владимир Сергеевич понял жену.

Через полгода Вероника родила сына и почти сразу же выгнала мужа, объяснив, что он ее раздражает своими претензиями и тупостью. И хотя возразить на это было вряд ли возможно, он все же бубнил что-то положенное, понимая, что все его речи бессмысленны, что их эффект и воздействие равны нулю, да и когда слова помогали? Говорил он, естественно, о ребенке, о том, что мальчик нуждается в отце, но Вероника его оборвала.

— Остави, пожалуйста, стыдно слушать, умный человек, а туда же... зачем ему нужен отец-дурак? Да еще, к тому же, пошлый дурак, убежденный в своей незаурядности?

— Но ты с ним провела столько лет, — напомнил он.

Дочь махнула рукой: была девчонка, теперь поузнала. Одно дело — где-то встречаться тайком и другое — существовать в одной клетке.

С этим нельзя было не согласиться.

— Объясни только, бога ради, маме, что не стряслось никакой трагедии, пусть она перестанет меня оплакивать. Обыкновенная разминка. Или эксперимент. Так лучше?

— В самом деле, прекрати причитать, — сказал он бывшей жене

с раздражением. — В конце концов это ее жизнь. Тебе-то Артем всегда не нравился.

— А Виталик? — возопила она.

— Не пропадет. Ничего не поделаешь.

Внук стал чаще бывать у него, иногда, в редкие свободные дни, он гулял с ним, и его веселило, что внук звал его дедом, совсем, как он. И опять вспоминались та поездка, теплоход «Грузия», на котором они приплыли и уплыли обратно в Батум, откуда потом вернулись домой, где ждал их соскучившийся отец. Вспоминались каштаны и гул на улицах, мелодии из распахнутых окон, море, Итальянский бульвар и та ночь, когда, цепenea от ужаса, он впивался в зеркало, смотрел на себя и не узнавал своей рожицы. Но чаще всего вспоминался дед. Он никогда его больше не видел.

Мальчик был ласковый и смывленный, и Владимир Сергеевич ощущал, что все крепче к нему привязывается. «Опасно, — говорил он себе, — где привязанность, там потеря».

Это и был его горький опыт. Почему-то все дружеские связи не приносили удовлетворения. Пик взаимного тяготения оказывался достигнутым быстро, очень, может быть, слишком быстро, трудно было на нем удержаться. Он научился обнаруживать трещину при самом первом ее появлении — то усталость от близких отношений, предшествовавшую их исчерпанности, то еле уловимую фальшь, то плохо скрытое недоброежелательство, иной раз оно прорывалось наружу.

Он понимал, что, так преуспев, невольно задевал тех, кто прежде шагал с ним вровень, но понимание не приносило облегчения. Однажды он грубовато сказал, что устал оправдываться за то, что природа была к нему благосклонней, чем к многим. С некоторых пор он все охотнее отдавал безусловное предпочтение ни к чему не обязывающему приятельству, приветливому, уравновешенному, с устойчивой температурой, не доходящей до тридцати семи градусов. Где привязанность — там и потеря.

И вот добытая с кровью истина не сработала, хоть и остерегала. Внезапно вошедшее в его жизнь существо завладело его душой. Он привязался и поплутался.

Некоторый срок миновал, и дочь сообщила, что выходит замуж. Ее новым избранником стал славист из Кельна. Был он старше лет на двенадцать, прожил, как выразилась Вероника, жизнь сложную и насыщенную, славистикой занялся сравнительно поздно, но основательно, и достиг в ней успехов. Он работал по контракту в московском издательстве, а в свободное время — в архивах, занимался литературой двадцатых годов. Вероника сказала, что теперь наконец она нашла то, что всегда искала, более же всего ее трогает его отношение к ребенку.

Для знакомства был устроен обед. Славист оказался весьма обходительным, очень вежливым человеком, среднего роста, средней упитанности, с приятной среднеевропейской внешностью. По-русски он говорил свободно, когда же не сразу улавливал смысл, предупредительно наклонял голову и с виноватой улыбкой произносил: прошу... Это зна-

чило, что, если возможно, он хотел бы еще раз услышать сказанное.

Владимиру Сергеевичу иной раз чудилось, что он присутствует на некоем спектакле, причем исполнители даровиты и органично воссоздают неестественность заданной ситуации. Как опытный зритель он отмечал растерянность своей бывшей жены, ее испуг и обескураженность, ее боязнь сказать что-нибудь лишнее, и все равно, когда она заговаривала, говорила она невпопад.

Вероника шутила и похохатывала, называла своего слависта Павлушей, выкурила пять сигарет и выпила одну за другой пять рюмок — за всем этим была напряженность и подсознательная неуверенность — это он тоже отлично видел.

Немец гладил Виталика по куделечкам, объяснял ему, как привести в движение роскошный поезд, принесенный в подарок, и попутно рассказывал о себе. Не считая Виталика, он, пожалуй, ощущал себя свободней других.

Человеком он и впрямь был неглупым, слушать его было занятно. С неподдельным сыновним чувством он рассказал о своем отце, почтенном университетском профессоре, занимавшемся историей права. Профессор, по свидетельству сына, был убежденным эскапистом и в этом духе воспитывал своего Пауля.

— Отец то и дело повторял весьма поучительную историю, — с легкой улыбкой вспоминал славист, — о том, как на Версальском конгрессе Жоржу Клемансо был представлен пианист Игнаций Падеревский, президент только что созданной Польши. «Скажите, — спросил его Клемансо, — кем вам приходится музыкант Падеревский?» Президент ответил, что это он сам. «Боже, — воскликнул Клемансо, — с таких вершин вы спустились в политику!»

Владимир Сергеевич заметил, что в политику невозможно спуститься, как невозможно до нее воспарить — она окружает человека с детства.

Пауль охотно согласился. Русская жизнь, безусловно, масштабна, хотя и чрезмерно идеологична. Но только русская широта позволяет преодолеть опасность этих соблазнительных шор. Немцы же по своей природе всегда первые ученики и полюбившуюся идею легко доводят до абсурда. Оттого-то у них возник гитлеризм с его апологией тоталитарности — в сущности, в этой уродливой опухоли нашло свое крайнее выражение политизированное мышление. От террора политики до политики террора — один шаг. Может, и полшага.

Владимиру Сергеевичу стало неудобно за эти резкости по адресу немцев. Он пробормотал, что у всех народов есть нездоровые инстинкты, точно так же, как у людей, — важно не допускать условий, при которых они могут развиваться. Пауль все с той же мягкой улыбкой успокоительно поднял ладонь — пусть уважаемый будущий тесть не чувствует никакой неловкости. Он, Пауль, и любит, и чтит свой народ, считает его великим народом, но именно великий народ обязан знать свои слабые стороны. В этом и состоит величие. Пыжатся и восхваляют себя только карлики, это идет от чувства... как это... *Minderwertiggefühl*.

— Неполноценности,— подсказала ему Вероника.

Все это было бы любопытно, когда бы Владимира Сергеевича во время всего этого разговора не обжигала одна неотвязная мысль: срок контракта пройдет, и этот корректный, отменно воспитанный человек уветет его Виталика в Кельн.

Так и вышло. Однажды настало и это — одно из самых горестных расставаний. Толчая в Шереметьеве, таможенники, потерянное лицо старой женщины, беспорядочные слова Вероники, озабоченный Пауль и поверх всего — оживленная мордочка Виталика, тугие щечки, которые он целовал, не веря, что ровно через минуту это к о н ч и т с я, машущая ручонка, голосок: дед, до свиданья! — и вот уже всё — исчезли, пропали, никого, ничего не видно.

\* \*

\*

И второй брак не создал чувства тыла. Хотя ему предшествовали события необычные и драматические. Долгие годы он был дружен с одним знаменитым музыкантом, охотно посещал его дом, благо тот был не только большим виртуозом, но и значительным человеком. Бесспорно своеобразной женщиной была и жена его — красивая дама, несколько, правда, экзальтированная. Она умела внести в их застолья, в неторопливый обмен мыслями, притягательную, хотя и нервную ноту, будоражащую игру. Владимир Сергеевич и сам не заметил, как между ним и эффектной хозяйкой возникло некое магнитное поле. В дальнейшем события развивались по хорошо известной схеме, хотя и с некоторыми оттенками. Выяснилось, что у Ольги Павловны есть свои претензии к супругу, дело было не в его недостатках, человеком он был весьма привлекательным — резко не совпадали натуры. Одна — покладистая и терпимая, инертная в своем отношении к среде обитания, легко принимающая всякие личные незадачи — пожалуй, примирение с бедами было для славного пианиста наиболее важным жизненным принципом, — и рядом совсем другая стихия — неуголенная и неуголимая, с частыми сменами настроений, почти мгновенно переходящая от уныния к радости, от веселья к печали, слишком многого она ожидала, слишком много требовала от жизни, которая скупа на дары.

И неизбежное совершилось. Владимир Сергеевич и Ольга Павловна соединились. И он, и она понимали, что адюльтер невозможен, надо было соблюсти высоту, обошлось без обмана и без лганья. И поскольку музыкант был терпим, и стремился ни при каких обстоятельствах не утратить добродушной иронии, удалось даже сохранить отношения — если не былую дружбу, то все же известное приятельство, симпозиумы за столом продолжались. Этот занятный тройственный пакт был предметом длительных толков среди тех, кто их знал, и это по-своему радовало Ольгу Павловну как признание неординарности и особого н а д б ы т н о г о уровня. Он же был рад, что сохранил незаменимого собеседника.

Однако новая семейная жизнь не оправдала его надежд. Поздно они пришли друг к другу, велика была ноша привычек, пристрастий, укоренившихся восприятий. Уже непомерно обширны стали те заповедники души, в которых проходит наша подспудная, не всегда нами сознаваемая и тем не менее главная жизнь. Заповедники эти были слишком обжиты, чтобы вдруг их наполнить иным содержанием. И когда схлынули первые месяцы с их радостным насыщением друг другом, и пора было отправляться в путь, стало ясно, что кладь — своя у каждого и разделить ее на обоих — почти невыполнимая задача.

То и дело они вступали в споры. Содержание их могло быть случайным, не затрагивающим ни его, ни ее, но это не мешало дискуссиям носить ожесточенный характер. Почему? Какого рожна? Ни он, ни она не могли бы ответить. Решительно по любому вопросу у нее оказывалось свое и, как правило, противоположное мнение. Даже когда речь заходила о проблемах архитектурных, в которых он был авторитетом для самых маститых профессионалов, и тут она, ничтоже сумняшеся, с редким запалом, с какой-то страстностью оспаривала его утверждения.

Но главной мукой были совместные посещения консерватории и разных музыкальных премьер. Многолетнее первое супружество, давние связи в этом мире избранных породили в ней прочное ощущение своей исключительности и особенности. Владимир Сергеевич благодарен был музыке с юных лет не только за все ее очарования, но и за то, что она способствовала поистине счастливым находкам. Почти все удачные решения являлись ему во время концертов. И отказаться от них он не мог. Но нигде он не чувствовал так отчетливо отчуждения и даже враждебности Ольги, непонятной, непостижимой, как на этих изысканных вечерах. Ее поведение словно складывалось из всяческих маленьких предательств. В антрактах она его оставляла и будто забывала о нем, если же в общем разговоре он вставлял свое слово, она его обрывала, как лицо недостаточно компетентное. Об искусстве ее кумиров она запрещала ему говорить. Он даже не смел судить об их внешности. Однажды его пренебрежительный отзыв о конском подбородке одной певицы привел ее в настоящее бешенство: казалось, она готова его убить.

— Странно, — думал он ошарашенно, — откуда все же такая ненависть?

Впрочем, острый момент проходил и Ольга Павловна становилась и приветливой, и сердечной. Иной раз — и любящей. В соответствии с переменчивым состоянием духа. Мир человека устроен загадочно.

Скорее всего первопричиной этой трещины было ее открытие. За его впечатляющим уверенным обликом она разглядела или почуяла душевное неблагополучие, и это повергло ее сначала в изумление, потом в недовольство. Она была сильно разочарована. Не того ждала, не на то надеялась, к чему было уходить от мужа?

Надо сказать, не ее первую обманули его внешность и стать. Он и сам дивился, что его постоянно принимали за энергичного малого, исполненного скрытой динамики. А между тем, сколько он себя помнил, в нем всегда жил неосознанный страх решительно перед каждым кон-

тактом. Когда возникала необходимость позвонить по важному, очень важному делу, он себя неизменно ловил на том, что радуется, когда разговор почему-либо не мог состояться и откладывается. В этом случае всегда он испытывал невыразимое облегчение.

Так или иначе не только она, он также чувствовал себя обманутым. Семейная жизнь не задалась. В первый раз он женился из благодарности, второй раз — из тайного тщеславия. И то и другое — крайне глупо.

\* \*  
\*

Теперь, неуклонно приближаясь к цели, они пересекали полянку, пока еще пощаженную городом. Вся она словно была захвачена темно-фиолетовым, похожим на фиалку барвинком, который рос всюду, буйно и вольно. Поблизости грелась на солнце лаванда, ее фиолетовый цвет был бледен, и рядом с барвинком она казалась хрупкой, изнеженной горожанкой, которую не берет загар. Чуть дальше, как несхожие сестры, цвели японская магнолия с ее лиловыми кулачками и наша — с крупной желто-зеленой листвой. Здесь же томительно пламенел пунцовыми листьями дикий гранат.

Владимир Сергеевич невольно замедлил шаг. Молодые патриоты горделиво перемигнулись.

— Каков парадиз? — спросил один из спутников.

— Странно, что вы его не приспособили под фундамент, — усмехнулся Владимир Сергеевич. — Это ведь все только цветочки, не то что ваши высотные ягодки.

Заговорили на вечную тему — возможно ли создать красоту, лишь подражая живой природе. Смуглый брюнет, горячася, утверждал, что всякое подражание ложно.

— Есть закон: подражая, себя предаешь. Единственная заключенная в тебе ценность — твоя единственность. Неповторимость.

— Есть другой закон, не менее мудрый: позаботься о собственной неповторимости, и она позаботится о тебе.

— В том случае, если она существует.

— Представь, и ее можно развить.

— Уж это, братец, одни мечты. Владимир Сергеевич, ради его же пользы, верните этого Сальери на землю.

«Бедняги, — подумал он, — так нейдет, так хочется прорваться в художники. Очень уж клятое наше дело — весь век танцуешь на тонкой проволоке между искусством и индустрией. То и дело тебя сминает серия и ограничивает каталог. Легче легкого раствориться в ремесленничестве. Впрочем, нервничают все служители муз. В сущности, разница между художником и ремесленником весьма относительна. Не столько в возможностях того и другого, сколько в их основной задаче. Первый хочет успеть, второй поспеть».

Можно было сказать, что вся его жизнь прошла под аккомпанемент этих споров. Они ведутся пять тысяч лет и ничего еще не решили. И

все-таки каждое поколение проходит сквозь этот лукавый иску: найди формулу, и все состоится. Но он устало махнул рукой:

— Каждый подбирает одежду. Видимо, доверяясь инстинкту.

— Но есть же законы и закономерности!

— Есть, есть, — сказал он лениво. — Но когда рассматриваешь искусство, исходя из принятых тобою правил, из его соответствия этим правилам, свободно можешь загнать себя в угол. Даже если ты Лев Толстой. Шекспир — не с руки. «Дядя Ваня» — тоже. Не соответствует — не годится!

— Толстой все равно что папа с ремнем. Неважно, что у сына способности, лишь бы вел себя хорошо!

— Ну, что до Толстого, то у него свой счет великана, своя тоска, а у нашего брата, простого смертного, все мельче, да мы не хотим создавать. Плодов таланта нам недостаточно. Поддай нам личность его обладателя. И, конечно, из самых благих побуждений. Мы ведь хотим защитить эту личность, удержать ее на уровне дара. Даже рассудку вопреки. Даже наперекор стихиям. Не говоря уж о бедных фактах. Выработано почти виртуозное, изощренное мастерство так объяснять биографию идола, что даже порочащие обстоятельства выглядят либо невинными шалостями, либо свидетельствуют метание духа. А вот бы оставить нам наших героев такими, какими они и были. Нам кажется, что наши усилия их украсить исходят из благодарности. Ничего подобного. Наоборот. Нам мало испытывать благодарность за то, что они совершили и дали, за то, что оставили в наше пользование. Нам надо сделать из них моралистов. Могу согласиться, что искра божья способна воздействовать на того, в ком она вспыхнула, так бывает. Но сплошь и рядом, сколь ни печально, она бессильна в борьбе с натурой. Не требуйте ж от ваших избранных явить вам то, что эти мытари явить не могут при всем желании — вашем желании, разумеется, — гранитные принципы, постоянство. В битве за свое право выжить нашей талантливой особи случается и ловчить, и юлить, иной раз даже все потерять, включая и свой бесценный дар.

Молодые люди развеселились.

— По-моему, метр нас эпатирует! — воскликнул неумный брюнет. Владимир Сергеевич усмехнулся.

— Обычное дело. Скажи, что думаешь, и тебя заподозрят в эпатаже.

\* \*  
\*

Он сам не смог бы себе ответить, с какой стати он так разговорился. Устал от насыщенного дня, устал от ходьбы, разомлел на солнышке, казалось, и слово-то трудно выдавить и — на тебе! — произнес монолог.

Должно быть, попали в больное местечко, когда неожиданно заговорили об этической подкладке искусства. Стоит коснуться Льва Николаевича — и сразу затянет в водоворот. Стоит заговорить о художестве — и сразу же призвут к ответу. Кто ты? Каков? Кем был? Как жил?

Что тут ответишь? Жил, как многие, дергаясь, сетуя на обстоятельства, на отношения, на людей, втайне же, тяготясь собою, чувствуя, как ему далеко до собственных представлений о подлинном. Но если бы кто мог объяснить, как надо примирить образец с кожным ощущением счастья? То и дело они исключали друг друга. Теперь-то он знал, что только тогда начинаешь жить настоящей жизнью, когда начинают гаснуть страсти — здесь прочная прямая зависимость. Очень уж долго ему мешала его нетерпеливая кровь. Попробуй с нею стать Диогеном! Как бы не так! Она клокочет, подхлестывает и погоняет. Тут не до бочки, не до шалаша. Частенько твердят о моменте истины. Неспроста. Надолго она не дается. Жить с ней трудно. Поэтому и любовь к ней обычно слабее любви к успеху.

Похоже, что все его несовпадения с Ольгой Павловной объяснялись сходством, — оба не научились смолоду видеть пределы своей судьбы.

Однажды летел он из Боготы в Нью-Йорк с посадкой в аэропорту Гватемалы. За час, который он в нем провел, его ослепили и оглушили яркость пейзажа, пестрые краски с преобладанием оранжевой — возможно, из-за какого-то яростного, какого-то одержимого солнца. Ладонью заслоняясь от света, он вернулся в белый лайнер и увидел новую спутницу: в соседнем кресле сидела девочка, ей было не более десяти.

Она сказала, что ее зовут Эухения, ее проводили, в Нью-Йорке встретят, в этом нет ничего особенного, она не впервые летит одна. По-английски она болтала свободно. Сообщила, что родственники предложили дать ей образование в Штатах, там, безусловно, больше возможностей. Кем хочет быть? Стенографисткой, секретарем у какого-нибудь менеджера. Не то чтобы хочет, но это доступней, надо быстрее становиться на ноги, не зависеть ни от кого. «Я некрасива, — сказала девочка, — и, наверное, не смогу выйти замуж».

Он смутился. «Помилуйте, Эухения, кто вам это внушил? Вы очень милы». Она спокойно его прервала. «Нет, нет, я говорю то, что есть. Мне замуж не выйти, нужна профессия. Стенография — это самое верное».

Потом ему не раз вспоминалось это бестрепетное дитя. Усмехнулся: «Мне бы такой же трезвости». Но тут же сам себе признавался, что этого ему не дано.

Все же занятно, что именно дети кое-что ему прояснили. Сначала умая гватемалочка, а после его собственный внук. Однажды, гуляя с ним, он подумал, как непонятно будет Виталику все, что сегодня его грызет. Все, что тревожит воображение и не дает спать по ночам. Все, что, по твердому убеждению, может определить его будущее (которого в общем-то уже нет). Он изумился этой мысли и воспринял ее почти

как прозрение. Может быть, с этого самого дня я поумнел и стал выздоравливать, ибо чем же была моя душевная жизнь, если не душевной болезнью?! Два часа с внуком — какое лекарство! Два часа в обществе человека из другого мира, другого времени. Надо запатентовать рецепт.

Если признаться, этот недуг прежде всего ему и мешал добиться подлинного признания. Не жалких, вымученных стаетек, которых назавтра не помнил никто, не поощрений, которые также оказывались вполне эфемерны, нет, признания тех немногих, которых он привык уважать. Хорошо бы дать этой хвори название, навсегда припечатать ее тавром, чтобы загодя, издали, распознавать ее. Должно быть, это все та же зависимость — от обстоятельств, от чьих-то суждений, от фортуны, от внутренней незначительности. А ведь зависимость натуры еще опасней зависимости ума. Даже природное дарование не сразу заслонило от близких неодаренность его души. Какие усилия потребовались, чтобы ее согласились простить! Верно оттого он завелся и напустился с такой запальчивостью на биографов — и прошлых, и будущих.



Они проходили совсем близко от порта, совсем рядом было золотое море, покачивались суда и суденышки, баркасы, моторки и лодчонки, левее, у дальнего причала, возвышался громоздкий сухогруз, и оттуда неслись чуть слышные клики: вира, майна.

— Два слова, — улыбнулся он про себя, — как дата рождения и дата конца. Два слова, между которыми плотно умещается вся дорога. Первое — утренний подъем, второе — будто отход ко сну.

Среди тех, кто особенно отравлял ему жизнь, был некий ехидный искусствовед, словно избравший его мишенью. Сколько он помнил себя, сей тарантул кусал его с каким-то неистовством. Что питало подобное ожесточение, вряд ли можно было объяснить лишь различием в принципах и позициях. Острое личное неприятие, конечно, не вызывало сомнений. Но в этом случае откуда оно? В повседневности они почти не встречались. Впрочем, так ли уж было важно, в чем коренилась перво-причина?

Каждая новая работа подвергалась придирчивому расследованию. Все, что ни делал Владимир Сергеевич, как утверждал его гонитель, было лишено самобытности. Либо, наоборот, порывало с доброй и живой творческой традицией. Либо попахивало чуждой модой.

Владимир Сергеевич сперва отбивался и при случае всходил на трибуну, откуда метал ответные копы, потом рассудил, что молчать мудрей. Тогда в этом долгом противостоянии перевес стал склоняться на его сторону: как бы то ни было, за ним было дело, а за противником — лишь суждение. Тот и прежде был не всегда убедителен, теперь, почувствовав перемену, стал особенно нетерпим. Это в конце концов

определило неэффективность его усилий. Случилось то, что случается часто, — его перестали воспринимать.

Однажды утром, листая газету, Владимир Сергеевич узнал, что З. скоропостижно скончался. О чем с прискорбием извещали читателей. Он поразился, ему казалось, что недруг его неистребим. Потом с еще большим недоумением вдруг ощутил неожиданно грусть, внезапно возникшую пустоту. И что удивительного? С этой кончиной ушла важная часть его собственной жизни. И вообще иметь преследователя — это значит чего-то стоить. Возможно, поэтому смерть врага ударила будто утрата друга. Ведь если вдуматься, его роль была по-своему плодотворной. Рождалось настойчивое стремление лишить его ненависть аргументов, подняться и стать недостижимым для этих ядовитых укусов. И ведь действительно поднимался, стал выше, и не только как мастер. Странно, в итоге никто не сделал столько мне доброго, сколько он. Пусть даже того не желая. Вполне допускаю, что лишь ему и не был я безразличен, как прочим. Черт побери, кому же доказывать свою правоту, кого убеждать?

В эти минуты Владимир Сергеевич начисто упускал из виду то, что хорошо понимал: нельзя доказать, нельзя убедить. Чужие мнения — это гвозди, заметил один умный француз: чем крепче бьешь по ним, тем крепче вбиваешь. А все же глупо, что враждовали. И вообще какое значение имеет теперь наша вражда?

\* \*  
\*

Шли по крохотной и укромной улице, состоявшей практически из одного квартала, мостовая была немногим шире еле намеченных тротуаров. Владимир Сергеевич вслух заметил, что улочка похожа на потайной карман. Это сравнение почему-то восхитило молодых архитекторов, они долго и со вкусом смеялись. «Чему смеются?» — спросил он себя. — «Что смешного?» Да ничего смешного. Молоды — оттого и смеются. Чувство юмора в эти годы — понятие биологическое. Всякая ерунда веселит. Почти как в неприятном детстве. Что было такого во дворе деда, от чего он изнемогал от хохота? Странно выборочной стала память. Столько всякого, вовсе ненужного, угнездилось в ней, зацепилось, застряло, не отпускало, как тот ночной ужас, а что-то растаяло, ушло. Все-таки хотелось бы вспомнить.

Между тем его спутники вновь стали серьезны, теперь они уже обсуждали самую жгучую проблему, в которую все и упирается, кажется, говоришь о другом, а дело-то в ней, — сплошь и рядом, попадаешь в патовую ситуацию. Речь шла о вечной конфронтации художественной и социальной задачи. Прийти к согласию почти невозможно. Как ни верить, а высокий принцип качественного совершенства, требующий изящества, грации, не совместишь с фактором насыщения, отдающим при-

ритет количеству. Если терпишь обидное поражение, проектируя здание, то что ж постигает того, кто проектирует город?

— Метр, вы ведь его задумывали?

Он кивнул. Не очень любил вспоминать о том неудавшемся эксперименте, из которого в общем-то мало что вышло. Город в тех студенческих краях не оправдал его ожиданий. Местные власти и комбинат, который фактически был хозяином, так и не сумели поладить. Эта рана так и не заросла.

Он помрачнел, они смутились. Кажется, допустили бестактность.

— Не сокрушайтесь, — сказал брюнет, — верно, что чем архитектор выше, тем утопичней его проект.

И тут же молодые лстыцы напомнили ему о Нимайере, о созданной им бразильской столице.

— Тоже думал, что сам по себе. И сотворит фаланстёр наших дней.

— Все выдающиеся люди неизбежно забегают вперед.

— Благодарю, — сказал он насмешливо, — очень лестное сопоставление. В последнее время что-то все чаще хочется от него отказаться. Очень возможно, что наши титаны и впрямь провидцы, и чувствуют будущее, но оно у них неизменно холодно. Даже если чутье их не обманывает, от этого никому не легче. Хочется забежать назад.

— Метр, эти ретромелодии также достаточно обманчивы.

— И вы еще молоды, чтоб болеть ностальгией.

— С чего вы взяли, что я еще молод? Самое время давать советы.

— Авторитет дает вам право. Какой же вы дали бы нам совет?

— Такой же, как Анатолий Франс. Пришел к нему юноша, один из тех, что являются завоевать столицу, озабоченный, честолюбивый, замысловатая куча, глазки блестят — одним словом, точная ваша копия...

Эти слова привели их в восторг.

— Потрясающе! Как вы нас разгадали?

— Легче легкого. Все на поверхности.

— И чего этот юноша домогался?

— Ничего. Просто хотел пожать руку, которая написала «Восстание ангелов», «Остров пингвинов» и «Боги жаждут».

— Метр! — завопили они. — Метр! Протяните нам руку!

— Сначала послушайте, что сказал ему Франс: молодой человек, оставьте в покое богов и ангелов, не говоря о пингвинах. Пока вы молоды, ваше дело — любить.

— Гениально! За вашими словами чувствуется могучий опыт.

— Не за моими.

— И тем не менее. За вашими. Вы много любили?

Он усмехнулся.

— Что жгло, то прошло.

Эта рифма их не удовлетворила.

— Фу, как вы скрытны. Даже обидно.

— Просто вы держите нас на дистанции.

— И «не пускаете за барьер».

— Не пускаю,— кивнул он,— еще чего... Пустить туда этакий табунок. Да вы все там потопчете к божьей матери.

И пока они радостно хохотали, он подумал, что и впрямь затруднительно было б ответить на их вопрос. Много ль он любил? Поди разберись. Был отчаянно влюбчив, а вот, однако ж, нынче назвать мог бы немногих — хватит пальцев одной руки. Ту девушку, возникшую в юности, то исчезающую, то появлявшуюся; женщину, встреченную на северной станции; и еще пришедшую на закате, весьма осложнившую и без того достаточно сложное супружество.

И все-таки самой стойкой любовью была другая, любовь неизведанная, о которой не знал никто на свете, да и кому было рассказать? Повстречаясь ему идеальный слушатель, воплощенная чуткость и доброта, все равно бы так ничего и не понял, принял бы исповедь за фантазию, во всяком случае, за нечто выморочное, сочиненное, высосанное из пальца. Меж тем все было совсем не так. И чем дольше он жил, тем острее ощущал, что то, не бывшее, не случившееся, и было жизнью его души, а если сказать короче и проще, было его настоящей жизнью.



Он был совсем молодым человеком, много моложе сегодняшних спутников, только-только защитившим диплом, однако же из молодых да ранних. Уже прошумел приятный слухок, что появился талантливый, малый, этакий генератор идей. Он даже приготовил статью для уважаемого журнала, в котором обычно публиковались признанные авторитеты. Надо было напечатать рукопись, ему посоветовали обратиться к Анне Евгеньевне Метлицкой, старой опытной машинистке, из тех, что имеют свою многолетнюю, устоявшуюся клиентуру. Анна Евгеньевна оказалась свободной, при знакомстве он, видимо, вызвал симпатию, к чему, если честно сказать, был готов — умел себя хорошо держать, обаять, произвести впечатление. Позже, когда они подружились, она шутливо ему признавалась:

— Очень был пленительный юноша. Сразу понятно, что шармер.

Голос у нее был прокуренный, низкий, пожалуй что басовитый, с характерною хрипотцой. Она была рыхла и массивна, из-под поседевших бровей лениво-насмешливо поглядывали полуприкрытые глаза. Жила она в одном из арбатских переулков, где и было положено обитать дамам с ее манерами, пристрастиями и биографией. В квартире было всего три комнаты, в двух других размещались еще две семьи — ветхая, еле живая женщина с молчаливой племянницей и ее мужем, грузным, веселым стариком, по возрасту приближавшимся к тетке; и молодой экспедитор с женой, совсем недавно осиротевший. («Славный был мальчик,— вздыхала Метлицкая,— к несчастью, напрочь лишен характера».) Соседством она не тяготилась и впоследствии, когда возникла возможность перебраться в собственное жилье, отказалась самым решимым

тельным образом. («Нет уж, я из арбатских гераней, пересади — засохну враз».) Через несколько дней Анна Евгеньевна сообщила, что работа готова. Он явился, она вручила статью и сказала: печатала с удовольствием. Чем несказанно его ублажила. Неравнодушен он был к похвале — свойство, сильно ему навредившее. Анна Евгеньевна предложила присест («чашка кофе по моему рецепту»), это значило, что он признан, принят, введен в круг подопечных авторов, среди которых были заметные.

День был жаркий, но в плотно заставленной комнате было тенисто, спасали шторы и северная сторона. Он утонул в вольтеровском кресле с дряхлой, местами сдавшей обивкой, неспешно отхлебывал из чашечки и со вкусом рассказывал о себе — тема эта еще многие годы не теряла для него интереса. В сей миг и взорвался дверной звонок.

— Ну вот и сама, — сказала Метлицкая, и в этих словах ему послышалась некоторая торжественность. Чуть переваливаясь, прошла в прихожую, открыла дверь, до него долетел сильный и звучный женский голос, напоминавший голос Метлицкой, но вместе с тем от него отличавшийся своей прозрачностью и чистотой. Эта прозрачность в сочетании с отчетливыми низкими нотами сообщала ему особую прелесть. Молодой человек был покорен еще до того, как говорившая вошла в комнату, когда же она явилась, стремительно и вместе с тем плавно — непостижимое сочетание! — в душе его что-то оборвалось, взвилось и рухнуло — поминай, как звали.

Столько лет он пестовал в своей памяти ее облик, и тот впечатался намертво — хрупкий, тоненький стебелек, чудом удержавшийся в почве, откуда только взялись силенки — выстоять и тянуться к небу? Под темными мягкими волосами, стянутыми старомодным узлом, узкое, слегка удлинненное, бледное юное лицо. Глаза мерцали покойно и нежно; не ослепляющее сияние, не солнечный триумфальный блеск — скорее первый прохладный свет на самом исходе летней ночи. Все дышало той голубою свежестью, какая бывает в утренний час, когда идешь глухой боровой дорогой. И как уцелел этот первоцвет на асфальте, в каменных гнездах дворов, где мало воли и мало неба? Для этого надо и впрямь быть геранью, неприхотливой и неприметной, либо уж розой с ее отважным вызовом и ожиданием восторга. А в ней беззащитно и хрупко все, даже и голос, при всей его звучности, беззащитен — такая в нем доверительность.

Однако же нет, нет и нет — без города тут бы не обошлось. Тут было нечто сугубо московское, нечто поселянное и взращенное десятилетиями московской жизни, восходившей к рубежу двух веков. Угадывалась необоримая череда московских дней и ночей, из которых эти десятилетия складывались, семьдесят, восемьдесят, девяносто лет с консерваторскими концертами, с дискуссиями и рефератами, с поисками и обретениями, со снежным и весенним Арбатом, по которому прогуливалась в детском платьице ее бабушка и даже прабабушка, с Иваном Великим и Красной площадью, с ощущением катастрофизма времени, с грозной перекличкой эпох — все это прошлое постепенно должно было войти

в настоящее, чтоб жили подобные существа с их обостренной одухотворенностью. Каждое слово, пусть не значащее, каждый произвольный жест были полны такой поэзии, что — странное дело! — хотелось плакать. Слушать ее и смотреть на нее — может ли быть высшая радость?

Анна Евгеньевна их познакомила, спросила, не выпьет ли с ними чашечку, но Таня сказала, что очень спешит, забыла нужные документы, сейчас возьмет и бегом обратно, надо успеть до перерыва, через полчаса уйдут на обед. И две минуты спустя умчалась, приветливо помахав ладошкой.

Он призвал на помощь всю свою выдержку, чтобы не броситься вслед за ней, мысленно утешив себя, что это не последняя встреча. Воображение рисовало набирающее силу общение, они будут становиться все ближе и, кто знает, однажды поймут, что предназначены друг другу. Он-то понял это мгновенно, но неизбежно поймет и она. Как истый южанин, в себя он верил.

Когда он остался вдвоем с ее матерью, он сказал возможно индифферентней:

— Хороша у вас дочь.

Анна Евгеньевна отозвалась:

— Да, она — человек.

Потом улыбнулась:

— Голова кругом. Всё дома оставила. Ну да можно понять: у нее завтра свадьба.

Он тоже заставил себя улыбнуться:

— Вот оно что... Да, тут растеряешься. Кто же избранник?

— Ее однокурсник. Очень порядочный паренек. Рано, конечно, да ведь любовь...

Он рассудительно согласился:

— Тут уж ничего не попишешь.

— Расстаемся, — сказала Анна Евгеньевна. — Вот — решили комнату снять. Разорительно, да им все едино. Счастью свидетели не нужны. Во всяком случае, поначалу.

— А после? — спросил он.

— Как у кого. Иной раз и любит себя показать. Вот оно я какое, завидуйте. Чужой интерес его освежает.

— Мудро, — сказал он, — очень мудро.

— Но это не про Татьяну, нет, — сказала Метлицкая. — Она не тщеславна.

И помедлив призналась:

— Грустно, мой друг. Нужно учиться жить одной.

Он только вздохнул. Анна Евгеньевна приняла этот вздох за знак участия, благодарно пожала его руку. Но думал он не о ней — о себе. Да ведь не скажешь, что это его обокрали, ограбили, обездолили. Отняли то, что могло бы стать светом в окне, его вдохновением, острым ежеминутным счастьем. Чем он виновен, что был рожден за тысячи верст, что поздно приехал, что стал архитектором, а не биологом, что старше на

два или три года и однокурсником быть не мог? Что этот сосунок в ней увидел, кроме фигурки и милых глаз? Что мог в ней понять? Ничего решительно. Просто из тех, кто был поблизости, она выделялась — вот он и выбрал. Ему не надо было для этого являться издали в Москву, петлять по улицам и переулкам и ждать прикосновения судьбы — все было за него! Для него!

При этом не приходило в голову, что нечто зависело и от Тани, выбор сделала не одна сторона. Какая уж тут могла быть логика!

Эта первая встреча оказалась последней, больше он Тани так и не видел, и, надо сказать, что сам постарался, чтобы этого не случилось. Сначала такое поведение диктовали отчаяние и страх за себя, со временем, когда все притупилось, — страх, что она могла измениться, нежданно-негаданно предстать иной.

Но за всеми ступенями ее жизни он следил внимательно и ревниво и, похоже, был в курсе всех событий. Он знал, что она родила сына, потом — дочь, знал, что поэтому свой диплом получила с существенным опозданием. Муж оказался способным малым, процвел, продвинулся в своем деле, как говорили, семья удалась. Дождались квартиры, поместились на большую, перебрались в отдаленный район. Тем лучше, меньше возможностей встретиться, хотя он не был вполне уверен, что, встретив, сразу ее бы узнал. С Анной Евгеньевной виделся редко, больше звонил по телефону. Она теперь почти не печатала, много времени проводила у дочери, надо было возиться с внуками.

Он как-то спросил: не проще ли жить вместе?

Она ответила:

— Нет, мой друг. Старики не должны жить с молодыми.

Он сразу же вспомнил поездку к деду и свой вопрос и дедов ответ. Те же слова, то же суровое и, видимо, выношенное убеждение. Понять бы, какая тайна тут скрыта, как возникает этот рубеж, разделяющий с такой беспощадностью самые близкие существа? В чем смысл этой несовместимости, а он ведь есть, не может не быть. Должно быть какое-то обоснование этой добровольной разлуке?

Однажды Метлицкая позвонила. Ударил некая круглая дата («какая, не хочу говорить»), и он был зван на праздничный ужин. Владимир Сергеевич уклонился, сослался на неотложное дело, отправил старухе корзину цветов величиною с треть ее комнаты. Таким образом, он вновь избежал возможности увидеть Татьяну.

Настали годы его процветания. Он много работал и много ездил на свои, как он частенько пошучивал, архитектурные премьеры. И не диво ли, возвращаясь в Москву, испытывал странное волнение — казалось, что возвращается к ней. Все ближе и ближе заветный город, в котором живет его сокровище. Там ее дом, там эти улицы ее отлаженных жизнью маршрутов. В эти минуты он не думал ни о жене, ни о Веронике, как позже не думал об Ольге Павловне. Слово возник почти обязательный, хоть непонятный ритуал. Но тут не было ничего ритуального. Просто замирала душа.

Анна Евгеньевна тихо скончалась, о чем его известила соседка, та, что была женой старика, вдовая уже с давних пор. Ну вот, так и не спросил у покойницы, научилась ли она жить одна. А дед научился? Гадай на гуще. Сам теперь дед. Спроси у себя.

Он сказал, что, конечно, придет на похороны, но не приехал, а ведь хотел. Все оттого же — боялся встречи.

Казалось бы, что со смертью Метлицкой окончательно прервутся все нити, и все же он находил «каналы» — нет-нет, что-то и узнавал. Таня недавно стала бабушкой, и сын и дочь завели свои семьи, им, естественно, помогли отделиться. («Старики не должны жить с молодыми».) Правда, это еще не старость, она только достигла пенсионного возраста. Но муж ее неожиданно сдал — доработался до сердечного спазма, а возможно, чего и похуже. Таня ночевала в палате, просиживала с ним сутки за сутками, выходила, увезла домой, но, как рассказывал общий знакомый, история эта ее подкосила, не сразу узнаешь, другой человек.

Он подумал, что уже много лет не смог бы ее узнать при встрече, теперь, само собой, и подавно. Неизвестная пожилая женщина, бабушка, преданная жена, спасающая своего сердечника, должно быть, увядшая и седая, должно быть, грузная, как ее мать (ему припомнилось, как Анна Евгеньевна переваливалась при ходьбе), какое имеет она отношение к той, которую он увидел — однажды — в летний московский день? Сколько лет прошло? Уже тридцать пять. Сколько минуло их с его гостевания в этом городе, где он сегодня блуждает? Пятьдесят. И таких годовщин в переизбытке. Столько-то лет одному испытанию. Столько-то — другому. И третьему. Несть числа. Один юбилей за другим.

Но как она была хороша! Какая музыка в ней звучала! В этой — почти невесомой — струнке. Откуда только взялась эта силища? И спасала, и берегла. Кто сказал, что чудес не бывает? Бывает, да не про нашу честь. Про нашу честь — звонкая жесть. Мне, счастливчику, давно бы понять. И успокойся — в конце концов, годы делают свое дело. Переમેют, перемолотят. Только как позабыть этот тихий свет первой зари из распахнутых глаз? Мифотворчество, вы скажете мне? Ваше право. Но столько мифов, скажу я, со временем переросли в реалии. А было ли то, что со мной и во мне произошло тридцатипятилетнюю жизнь, придуманным или единственно подлинным, судить об этом мне, а не вам. Как говорится, моя печаль.

\*   \*

\*

— Метр, пришли, — с театральной торжественностью провозгласил брюнет, — мы у цели. Дарвина, сорок один.

Дом ни о чем ему не сказал. Точно так же безмолвствовала и улица. Еще одна из многих, им пройденных. Еще один старый дом с подворотней. Он неуверенно остановился.

— Войдем? — предложил кто-то из спутников.

— Рискнем, — отозвался он с комическим вздохом.

Но стоило только войти во двор, и все магически изменилось. Все вспомнилось прежде, чем он увидел. Он знал, что будет уступ в углу, в котором сомкнувшиеся окна были сходны с развернутой книгой в ее вертикальном положении, и одно из них было его окно. Знал он и теснину двора, каким видел его с утра до вечера, притулившийся к своему подоконнику, все долгих три дня налетевшей хвори. На нем он надписывал пакетики с красками — «свинцовая», «молочная», «кубовая». О, боги, что значило это слово?!

И тут же понял — не вспомнил, а понял, — что его так безгранично смешило. Во дворе висела доска, на ней крупными буквами были начертаны фамилии всех проживавших в доме. Одна приводила его поистине в экстатическое состояние. Двойная фамилия Турган-Баркан. Когда он томился со своей крапивницей, дед, зная уже, чем отвлечь и развлечь, приплясывая, напевал ему песенку, которую тут же и сочинил:

— Турган-Баркан

Черный таракан...

Он явственно видел лицо деда, круглые темные глаза, хранившие странное выражение некоей, как понял он годы спустя, отрешенности — даже и в те минуты, когда дед рассказывал что-то забавное.

— Турган-Баркан,

Попал в аркан,

Потом — в капкан,

Потом — в стакан...

Он оглянулся и сразу нашел в самом начале подворотни ту же доску со списком жильцов и среди прочих дважды повторенную восхитительную фамилию — Турган-Баркан С. Я., Турган-Баркан П. Я. И, как это бывает в киношечке, из белых строчек на черной доске возникла хочущая мордашка, в первый миг он не понял чья.

Он посмотрел на юных приятелей и попробовал усмехнуться:

— Тому назад пятьдесят лет с хвостиком я прожил здесь шесть или семь дней.

Они понимающе помолчали. Потом кто-то из них сказал:

— Должно быть, вы себя сейчас чувствуете, словно только что родились...

Он медленно покачал головой:

— Скорей — в преднатальной ситуации.

— Что это значит?

— В предродовой. Трудно объяснить. И не нужно. Одним словом, где-то там, в неизвестности. Такое бывает, когда долго живешь. Есть одно мудрое наблюдение...

И боясь показаться слишком серьезным, произнес с подчеркнутой высокопарностью:

— Не трепещи, коль близок твой черед. Не нужно ни надежд, ни утешенья. Ты хочешь знать, что после смерти ждет? Представь себя до своего рождения...

— Очень мило. А кто же это?

— Классик. Забудьте. Не забивайте голову. Все это только один из снов, а Митчисон, очень серьезный ученый, говорит, что сны надо забывать. Поскольку у них своя четкая функция — очищать мозг, разрушать ненужные связи.

Архитекторы мгновенно заспорили, а он подумал, что, уважая науку, не мог бы последовать, тем не менее, этой разумной рекомендации. Слишком ясно он помнит все свои сны. Пусть сначала ему объяснят, отчего он так хорошо их помнит.

И снова — из далекой пучины — вынырнуло бывшее видение: путник, спасающийся от погони, просит укрыть его за стенами крепости. Почему оно следует за ним неотступно, столько лет, точно верный пес? Должно быть, нужно искать объяснения не у профессоров — у поэта: «Мы сделаны из вещества того же, что наши сны». Похоже, что так.

Он вышел — сквозь подворотню — на улицу. Солнце, прятавшееся в пещере двора, радостно хлынуло ему навстречу, будто ждало и заждалось. Брюнет, который был реактивней других, сказал, видимо, что-то понял:

— Так или иначе, метр, вы счастливы. Я думаю даже, всегда были счастливы. Теперь — тем более. Вы — в расцвете сил. И сделаете еще много удачного.

Он пожал плечами. Все, что ждет его, можно без труда предсказать, не обладая большой фантазией. Даже живым воображением.

— Не знаю, — сказал он вслух, — в мои годы быть слишком счастливым — дурной тон. Неподобающее легкомыслие. Точно так же, как строить планы и надеяться на большую удачу. Все это хорошо в сорок лет. Единственное, что мне приличествует, — равновесие. На другое нет времени.

Он сказал это так убежденно, что они не решились ему возразить. И шли за ним в некотором отдалении.

«Все постоянно считали удачником, — усмехнулся он про себя. — В сущности, почему бы и нет. Ежели обозреть всю дорожку — в целом, вполне пристойный сюжет. Своя порция потрясений и бед, своя порция радостей и удач, своя порция любовных судорог. Пора сматывать, чтобы все не испортить безобразным концом — какой-нибудь опухолью или того хуже — неподвижностью».

Для него, для ветерана жизни, думать о неизбежном финише было уже обычным делом. Мы выходим в финал, финал входит в быт, как часть быта его и надо рассматривать. Трезво, спокойно, по-деловому. Равновесие. Он нашел слово.

Но все в нем люто сопротивлялось этим рассудительным мыслям. Было самому удивительно: держится таким бодрячком и достаёт сил улыбаться. А что еще остается делать? Не завопить же дурным голосом: «Отдайте мне эти пятьдесят три года! Это угловое окно! Отдайте все, что мне предстояло!» С блеском бы закруглил этот день. Сильное бы произвел впечатление. Нет, сколько ни брани лицедейство, оно во благо — себе и другим.

— Осторожно! Не надо на красный свет.

Он послушно остановился. И вдруг, как в стекле, увидел лицо. Он всмотрелся в него, в незнакомое, новое — хотя, бреясь, видел каждое утро — стянутое резкими складками. И они помогли ему воскресить то, другое, сморщенное, все — с кулачок, глядевшее когда-то из зеркала. Он узнал и вскрикнул, беззвучно и страстно, словно его могли услышать по ту сторону бездны длинной в полвека, вскрикнул, негодуя и жалуясь, содрогаясь от несправедливости:

— Дед, я стал старик!

## ПРОЦЕДУРА

Рано, нет еще и десяти, а солнце лютует, идет густой жар, и боязно подумать, каким он станет, когда день окончательно наберет силу.

В небольшой ведомственной поликлинике, в кабинете физиотерапии, почти пусто, лежит на койке старуха, греет одеревеневшие ноги, на другом конце, в кабине у ронефора, возится рыжий Родион, проверяет шнур, заодно и розетку, сестра Шура в это субботнее утро — хозяйка и главное начальство, ходит, командует, дает указания, хотя объяснять Родиону нечего, — дело знает и человек основательный, несмотря на свои молодые годы.

Шурке нет еще тридцати, она не больно собой хороша, скуластенькая, широколицая, невелика, да прочно сбита, халат ее красит, как, впрочем, всех не слишком привлекальных женщин — скрадывает несовершенства и придает нечто девичье, юное.

Все жарче. Стены и потолок словно плавают в оранжевых струях. Пол все еще пахнет вчерашней мастикой, солнце успело его прогреть, он отливает коричневым светом и будто исходит ответным теплом. Воздух певуч, слышно, как он звенит, не то сотни неутомимых ручонков щиплют невидимую струну, не то слетевшиеся в стаю шмели дружно тянут какую-то ноту.

Шурка сбрасывает с мускулистых ног вдруг ставшие тесными сандайки, с удовольствием шлепает босиком по жарким натертым половицам, воздух, который все гуще, плотнее, забирается за халат, щекочет ей грудь и живот, но эти бесстыдные прикосновения ей приятны — она потягивается так, что отзываются косточки сладким похрустыванием, ее мощное тело, похожее на спружиненный мяч, рвется из халата наружу, точно раздирает его, вот-вот и ткань начнет с треском лопаться.

— Ну как, бабка, лежится? — Она зевает.

— Спасибо, дай бог тебе, дочка, здоровья, — благодарно лепечет старуха.

— Этого-то добра навалом, — усмехается Шурка и шлепает дальше.

Ей душно от жара с улицы, от пола, от стен и от халата, хотя под ним ничегошеньки нет, кроме махоньких, невесомых трусиков, он надет на голое тело, но от свежего молодого мяса, от бедер, от икр, таких

твердых, будто в каждую вшито по овальному камню, от двух холмиков с остроконечными маковками, не стесненных лифчиком, всего и жарче.

Она подходит к рыжему Родиону, наклонившись над ним, лениво спрашивает:

— Еще искрит?

Родион только шурится, от пляски лучей его перепутавшиеся волосы, похоже, стали еще рыжее. От Шурки, почти его касающейся, пахнет сразу всем вперемешку — летом, пряным и терпким духом, пылом-жаром, здоровым потом.

— Уже искрит, — говорит Родион.

— Много ль вам надо? — смеется Шурка.

— Не уважаете вы технику. — Родион переводит разговор.

— Зато техника уважаем, — тянет Шурка свою ниточку.

— То-то, — грозит он прокопченным пальцем.

Перед ним — старая раскрытая сумка. Шурка всегда только дивится — чистый склад, отверточки, шайбочки, паяльник, шурупчики, контрольная лампочка, розетки, болтики — чего только нет! У каждой гаечки свое местечко, не только запаслив — аккуратист. Дело знает, чуть нездрей поведет, и сразу ему становится ясно, с какой дури забарахлил динамик, с какой — разладились провода, чем заболели электроды. Значит, такой ему дан талант.

— Скоро в отпуск? — спрашивает Родион.

— Нескоро еще, — вздыхает Шурка.

Начиная с зимы она ждет отпуска, а что в нем за радость, коли подумать? Ехать к тетке, горбатиться в ее огороде да белить стены на веранде и в горнице. Нашелся бы человек хороший, повез бы хоть на одну недельку к синю морю, позагорать на песочке. Уж хотя бы на воскресный денек, на речной бережок — да где там, жди больше! С фонарем такого человека не сыщешь. Родионовой жене повезло — парень смирный, руки умней головы, а что рыжий, так беда небольшая — говорят, рыжие на любовь злые.

— Дочка, — тревожится старуха, — верно лежу я?

— Все путем, — недовольно морщится Шурка и, пригнувшись еще ниже, бурчит:

— Лечится. Лишний год прожить хочет.

— И лишний день на свете дорог, — рассудительно говорит Родион.

Шуркина грудь уже касается его щеки, он распрямляется, негромко роняет:

— Пошабаши.

И проводит ладонью по ее круглой молочной коленке.

— Но-но, — остерегает Шурка, однако не спешит отодвинуться.

Старуха лежит на узкой койке, ей тяготно и неудобно, но она боится и шелохнуться, сделаешь лишнее движение — и тепло из белой гладкой трубы пойдет мимо, либо, еще того хуже, ненароком ударит смертельный ток. На всякий случай она прикрывает глаза и привычно думает о хорошем. Когда она на ногах, думать некогда, по дому всегда

хватает дела, но стоит лечь, и приходят мысли — одна другой милей и приятней. Вот и теперь самое время перебрать все доброе и утешное, что греет ее уставшую жизнь.

Как всегда, она думает о том, что старость ее сложилась счастливо. Живет в семье и умрет в семье, такое выпадает не каждой. Семья всему на земле голова, бессемейной и вишня, что волчья ягода. Ей ли не знать? Когда Михаил вернулся с Отечественной, весь пораненный, знакомые да соседки вздыхали: не жилец он у тебя, Акилина. А она сказала себе: не отдам. Зубами, ногтями вцепилась — выходила. Два раза он совсем уходил — не выдала, вытащила с того света. На третий год пошел на поправку, почувствовал интерес к жизни. Специальность была у него хорошая — радиомастер, жить да радоваться. Тем более родилась дочь. И тут подвернулась эта учителька. Чинил ей приемник, с того и пошло. Увела его, бессердечная женщина. Ее не пожалела, понятно, но пожалей хотя бы дите: как девочке расти без отца? Ты ж учителька, а не баба дурная. Да, видно, своя рубашка ближе. Выдержала, жива осталась, только стала на человека похожа, глядь, объявился Михаил. «Прости, Киля, получилось затмение, прими, воротит от образованных». Соседки, знакомые, все, как одна, советовали пойти на принцип, не пускать его, но она-то помнила: семья поважнее всякого принципа. Простила. Да ничего не вышло. Учителька оказалась настырной, тоже знала, что такое семья, какая бабе цена без мужа. Пришла за ним, дурачком бесхребетным, и увела во второй раз. Вот тут уже точно — едва не кончилась. Лишь дочери ради осталась жить. Иной раз подумаешь-подивишься: судьба — мастерица шутки шутить. Два раза он от нее уходил на тот свет, когда был хвор — не пустила. И выздоровел — два раза ушел. Тут уж нипочем не удержишь, видно, так на роду ему было написано.

Она уехала — от греха. Стала жить в городе, Анну растила, работала за комнату дворником. К ней ходил одинокий румяный старик, человек серьезный, богобоязненный, певший многие годы в церковном хоре. Присох к ней, она была видная женщина, сулил ей тихую чистую жизнь. И она пошла за него, пошла за покоем. Но никакого покоя не было, уж очень старик ее полюбил, по ночам приставал, как молодой, без стыда, ревновал ее к кому ни попадя, сколько раз обижал без вины, изводил попреками, всякой напраслиной. И скандальность его, и неумность удивительны были в таком пожилом, истово верующем человеке. В конце концов она ушла от него, было да вышло ее терпение. И снова подвернулась удача, устроилась в важный дом лифтером, ходила в свободные дни по жильцам, прибирала квартиры, мыла окна. Жильцы были щедрые, не мелочились. Но старик еще долго не отставал. Что ни год, в прощенное воскресенье приходил и каялся, ровно на службу. А все ж таки, когда он скончался, она и всплакнула от всей души и схоронила его по совести.

Анна между тем поднялась, кончила полных восемь классов, но характером оказалась в отца, такая же шалава-гулена. Работала в ателье, в химчистке, вязалась ко всяким мужикам, ходившим туда подновлять

сорочки. Хлебала она от них киселя, а ничему не научилась. Каждый раз: «Мама, он меня любит!» Как же, любит... Любит, как волк козу. Стыдила, потом махнула рукой, — да и кто она, похвалиться ей нечем. И сил для споров не оставалось, годы были уже немалые. Дни летели, один быстрее другого, спозаранку они, как черепахи, зато в закат, что резвые кони.

Ноги ее совсем замлели, трудно ими пошевелить, неужто сестричка о ней забыла? Быть не может, чтоб двадцать минут не прошло.

— Дочка... — стесняясь, зовет старуха.

— Чего она? — шепчет Родион недовольно.

— Головой поехала, — ворчит Шурка.

Ей все жарче, точно солнца прибавилось, надо бы оттолкнуть Родиона, да нет у нее ни охоты, ни воли.

— Ты что ж это делаешь... рукосуй? — выговаривает она чуть слышно. Но он, приложив к сжатым губам темный с подпалинами палец, молча выслушивает ее из халата, ровно орешек из скорлупы.

Старуха вновь закрывает глаза и вновь зовет приятные мысли. Все-таки Анна взялась за ум, вышла за вдового экспедитора. Зять взял ее к себе вместе с дочерью, относится он к ней по-людски — куском хлеба не укоряет. Да и грех ему жаловаться, дом на ней держится, все чисто, все прибрано, все накормлены, а уж внука не дочь подняла — она. Вышло все, как ей и мечталось, — настоящая семейная жизнь.

Если бы только еще посогласнее Анна жила со своим экспедитором, да не люб он ей с самого первого дня, что ни скажет, все — против шерсти. Сам-то из крестьянского роду, а по виду совсем городской человек. Кадыкастый, желтый, такой ледащий, будто ест его изнутри жадный глист. Уважает зато он себя, как бога, о родне своей говорит «дерёвня», но меж тем они с Анной каждое лето уезжают на отдых к его родителям, живущим вместе со старшей дочерью. Сестру экспедитор не переваривает, хотя она на него похожа, такая же жилистая и тощая, — к месту, не к месту напоминает, что полдома ему останется, пусть она помнит и не претендует. Родители, ветхие старички, только поглядывают и помалкивают, никак не поймут, почему их детки так собачатся, так друг дружку едят. Анне бы поладить с невесткой да помирить брата с сестрой, но где там, видеть ее не может. Анна и стариков не любит, несмотря на их тихость и безответность, досаждают ей своей бестолковостью, она жалуется, что пахнут землей, а чем же и пахнут старым людям? Значит, земля их уже зовет. Не нужно бы Анне туда ездить, такая ли уж радость — полдома, ведь надо еще его отсудить. Экспедитор всех земляков чехвостит за то, что держат руку сестры, а чему же тут удивляться? Она мстная, а они чужаки. Да и характер у зятя скучный, ежели Анна припозднится, сразу начнет читать мораль. А голос-то, как башмак с дыркой, — чавкает, булькает, будто воды зачерпнул из лужи.

И Анна под стать, запустила дом. Женщина она разворотливая, а не хозяйственная — не в мать. Сметана два дня у нее постоит — в бак! Никаких денег не хватит. Только и знает грозиться: сбегу! Куда бечь-то? Та-

ких, как она, в базарный день — рупь за ведро. Сын в пятнадцать годков мужик мужиком.

Старуха задумывается о внуке; как он ее в малолетстве любил! Отец с матерью — те всегда в бегах. И теперь он с ней ласковей, чем с родителями, они для него не авторитет. Экспедитор не так давно кипятился, — связался со шпаной, два привода, скорее всего пойдет под суд, почему ему не сидится дома? А какой же дом, какая ж семья, если одни ссоры-раздоры? Втолковать бы вам, что такое — дом!

— Дочка, — громче просит старуха, — выключила б ты, время вышло.

— Да не вышло, лежи, вреда не будет, — через силу отзывается Шурка, — а надоело — нажми на кнопку.

— Да на какую же... я-то не знаю... — Ей стыдно за глупость свою, за настырность, за то, что пристаёт к человеку.

— Справа... нажми... И вырубись сеть...

Старуха с усилием вертит шейю, но справа нет никакой кнопки, есть какой-то черный квадрат. Нажимать на него опасно, сама взорвешься и взорвешь поликлинику. Лучше уж она полежит, раз сестра говорит, что вреда не будет. Может быть, даже будет и польза, глядишь, и вернется ногам проворство. Вся-то наша сила — в ногах. Носят они тебя, ты человек, а не носят, ты куль ни с чем, обуза. Тут одна надежда — на бога, авось пожалеет да приберет.

Она снова думает о хорошем и удовлетворенно решает, что уж не ей-то бога гневить. Характер у зятя не угощение, мужчина не золотые часы, а вот же устроил ей процедуру, ходил к начальству, получил разрешение. Уж она-то навидалась зятьев — снега зимой от них не дождешься, а смотрят так, будто все их беды от этих несчастных старух, сама запросишься в дом престарелых. Нет, уж кому повезло, так ей.

Все было бы просто совсем хорошо, если б хоть разик-другой за сутки они с ней перекинулись словом. Но этого никогда не бывает, а стоит только ей встрять в разговор, все получается хуже некуда. Она чувствует, что раздражает дочь, Анне трудно с нею, едва себя сдерживает, все в матери ее будто бесит, особенно если слышит совет. Зять молчит, как стена, в упор не видит, если внука и впрямь упекут в колонию, не с кем будет сказать словечка. Она никак не может понять, отчего она их из себя выводит, ведь советует от чистого сердца, оттого, что желает им лишь добра, хочет их уберечь, оступиться просто. Отчего всем с ней скучно, тоскливо, тошно, отчего все стремятся скорее прочь, говорят с ней, как отбывают повинность, отвечают только через губу, не скрывают даже пренебрежения к каждому ее робкому слову? Разве так уж она глупа и проста, что не может сказать ничего дельного? Прежде старых людей уважали, пусть нет у нее образования, но ведь прожить такой долгий век чего-то стоит, сама не заметишь, как наберешься ума-разума и всякого полезного опыта. Уж так она бита своими годами — по голове, по душе, по телу! Ей ли не знать, что такое жизнь, как остеречь свое дитя?

Она чувствует, как в ней разрастается тяжелая, глухая обида — на дочь, на семью, на свою судьбу. Эта обида грызет и точит, и утешительные мысли теряют свою обычную силу. Еще миг, и в глазах набухнут слезы, а это стыдно и неприлично, чтобы этого не случилось, она запрокидывает голову, упирается взглядом в потолок — испытанное, старое средство.

К ней подходит разгоряченная Шурка, нажимает пальцем на черный квадрат.

— Все, бабушка, — говорит она весело, — сейчас побежишь от нас, как новенькая.

Старуха шепчет слова благодарности, кряхтя встает, ковыляет к двери.

Стуча пятками, с удовольствием втягивая уже слабеющий запах мастики, Шурка медленно подходит к окну — солнце буйствует совсем по-дневному. Она ощущает сладкую легкость — запусти ее, как бумажного змея в эту ликующую голубизну, и она улетит к синему морю.

## ЗАКАТЫ

В нашем городе в маленькой темной квартирке жила знаменитая старая дама. Разумеется, здесь надо сделать поправку — знаменитой была она в нашем городе и в достаточно узком кругу, не уверен, что за его пределами имя ее было известно. Впрочем, по слухам, в шумной молодости, когда она много жила в столицах, была актрисой, а потом и сама организовывала какой-то театр — с ним она и приехала к нам, да так и осталась здесь доживать, — в те дни, очевидно, ее фамилия что-то и весила и говорила; факт, что в числе ее знакомых были весьма известные люди. Теперь, разумеется, я понимаю, что в числе знакомых была она, но в ту пору я не улавливал разницы, во всяком случае, дама была бесспорной местной достопримечательностью.

Помню, в тот в первый мой визит — а я тогда еще был подростком — меня поразило ее величие. Она была и мила и любезна, но я ощущал, что нас разделяет расстояние в небольшую планету. Говорила она негромко и скупно, имена-отчества великих людей легко слетали с ее фиолетовых губ, она не подчеркивала своей близости, но близость эта отчетливо чувствовалась и придавала ее радушию особенное очарование.

По-видимому, она была хороша, да и тогда предо мной сидела женщина с вымуштрованной фигурой, с орлиным профилем, с живыми глазами, в которых мерцал насмешливый ум.

Стены комнаты были покрыты афишами, групповыми снимками и, гуще всего, старыми выцветшими портретами, с которых смотрели гордые лица, было ясно, что обладатели лиц — люди высокого полета. Взоры их, устремленные вдаль, обозначали глубокую думу и свободное парение духа. На всех фотографиях — поперек и вдоль — были выведены чрезвычайно лестные сопроводительные надписи, иные — со старой

орфографией. Почему-то запомнилась мне одна: «Упоительной Елизавете Павловне от ее преданного поклонника». Это «ея» вместо «ее», это «преданного» вместо «преданного» отзывались во мне непонятым трепетом, казалось, что я переместился в минувший, давно отгремевший век, и было странно, что Елизавета Павловна сама показывает свои раритеты и дает лаконичные пояснения.

Потом она достала листок, столь ветхий, что прикасаться к нему требовалось с большой осторожностью, я увидел восемь волнистых строк, будто слетевших на бумагу. То были стихи, и они гласили:

«Все с ета сует.  
Мы ссоримся и вздорим,  
А Лизе дела нет,  
А Лиза пахнет морем.  
Она вознесена  
Над радостью и горем  
И пахнет, пахнет морем,  
Как юность, как весна».

Под этим восьмистишием стояли инициалы, и Елизавета Павловна с достоинством их расшифровала, они принадлежали перу известного в ту пору поэта.

Однако не меньше, чем славное имя, меня взволновали дата и место — 26 июня 1903 года, Гурзуф. У меня даже дух перехватило — господи, когда ж это было! Еще жил Чехов, так близко оттуда. Я вдруг представил себе Гурзуф. Белую гальку на берегу, тысячекратно омытую морем, сырой песок с его острым запахом, крымское лето в самом зените и прелестное юное создание в окружении молодых людей, да и не только молодых, оспаривающих ее внимание. А Лизе дела нет...

Она заметила впечатление, которое произвел листок, и приписала его тому, что я вижу воочию почерк поэта — это доставило ей удовольствие. Впрочем, ей было бы даже приятней, если бы я ей тогда признался, что больше всего тешит меня ее королевское присутствие и сознание, что я приобщен к неведомой и значительной жизни.

А Лиза пахнет морем... Только теперь, спустя многие годы, мне ясней мое тогдашнее чувство, тому, давнему, было еще не под силу связать и понять свои ощущения. Такое потом случалось со мной, когда я читал старые книги. Я ловил себя на невеселом вопросе — понимают герои свою скоротечность? А вместе с ними и тот, кто их породил? Вот они действуют, сходятся, бесятся, решают мировые проблемы — а все они лишь тени былого.

Эти глупые мысли мешали мне с детства. Поздней я решил, что все дело в том, что привычка наша к собственной молодости держится непозволительно долго, — она сильнее, чем годы, хвори, потом и трансформация внешности. Когда мы обнаруживаем перемены в отношении к нам других людей да и все прочие перемены, мы чувствуем только несправедливость, с которой невозможно смириться. Оттого мы частенько

бываем смешны. Но этого про себя не знаешь и не видишь, даже уставясь в зеркало. Все видишь и знаешь лишь о других.

Однажды в летний вечерний час я стоял на перекрестке и ждал. Было это через несколько лет после визита к старой даме, я уже больше не был подростком, но лет мне было еще так мало, что нынче их даже неловко назвать. Ждал я одну молодую женщину, лет на десять — двенадцать старше себя. То была привлекательная особа, уверенная, что лишь в ее власти сделать меня вполне счастливым. Так оно, конечно, и было.

Сбегавшиеся с четырех сторон улочки все, как одна, тесны и темны. Темными были и подворотни, из которых струился терпкий запах гнилых ягод, объедков, арбузных корок. Только над перекрестком качалась желтая лампа под плоской тарелкой.

Я пришел туда, как обычно, до срока, за пять минут до девяти. Ее нет, но это в порядке вещей. Я обязан ждать терпеливо и стойко. Она всегда любила опаздывать. На четверть часа, на двадцать минут — это было совсем не много для той, которая может осчастливить.

И вот в тот вечер на противоположном углу появился долговзый старик. Неожиданно он остановился, я увидел длинное худое лицо, длинные белые усы. Он был в кремовом чесучовом костюме, с соломенной шляпой на голове, ладонь его лежала на палке, увенчанной костяным набалдашником.

Прошло не менее двух минут, пока я понял, что он пришел на свидание.

Как и я, он ждал Прекрасную Даму. Это меня развеселило, хотя только что я уже начал нервничать. Кто ж эта странная незнакомка, охотница до почтенных мощей? Ситуация была хоть куда, он был старше лет на сорок, должно быть, но пришли мы сюда с одним и тем же, два жуира, два искателя счастья.

Вечер густел, совсем стемнело, я уже два раза ошибся, приняв за нее посторонних женщин, радостно разлетевшись навстречу. Старец со вздохом чиркнул спичкой, при свете вспорхнувшего огонька он долго разглядывал циферблат извлеченных из кармана часов. Озабоченно покачал головой. Была уже половина десятого.

Он закурил. Я угрюмо смотрел на красный глазок его папиросы (сигареты были тогда не в ходу) — маленький ярко-алый гвоздь, вбитый в плотную черноту. Кремовый чесучовый костюм белел предо мной, сплошное светлое облако в темном текущем киселе.

Помнится, я подумал с досадой:

— Ну чефo ты ждешь? Кому ты нужен? Посмотри на себя. Смех, да и только.

Тут меня укоротила мысль, что и ко мне никто не пришел. Что за дьявольщина? Неужели? Но я еще не был готов смириться. Я и он — что между нами общего?

По некой странной ассоциации я стал размышлять о другом старике. Я узнал его в позапрошлую зиму, когда шахматы помрачили мне голову. То было истинное сумасшествие, наваждение, белая горячка. Каж-

дый день, едва дождавшись вечера, я спешил на одну из центральных улиц, упиравшуюся кривым углом в набережную, на ней открыли шахматный клуб, а попросту говоря, две комнатки, ютившиеся в незавидном растворе. У меня было три-четыре приятеля, таких же безусловных безумца, мои постоянные партнеры — до полуночи мы успевали сыграть десятки молниеносных партий.

И каждый вечер к открытию клуба являлся опрятный учтивый старик, молча кланялся и присаживался к нашему столику. Трудно было понять, что его привлекало. Сильными игроками мы не были, ни эффектных атак, ни тонких замыслов, уложиться бы в отведенное время! Гонка по кругу, пляска над бездной, вечный неутомимый цейтнот! Фигуры сметались с доски, как кегли, мы их подхватывали на лету и били ими по шляпкам часов с особым оглушительным стуком. Мало этого, каждый ход сопровождался комментариями, самым настоящим каскадом лихо закрученных периодов, исполненных бесконечного ухарства и уверенности в своем превосходстве.

Это веселое фонтанирование, этот словесный фейерверк, похоже, доставляли соперникам ни с чем не сравнимое удовольствие, не меньшее, чем сама игра, но каково было тем, кто слушал?! Однако наш постоянный зритель вовсе не выглядел утомленным или шокированным этим потоком, и если вначале его присутствие хотя бы немного нас ограничивало, то после, когда мы к нему привыкли, оно нас скорее даже подхлестывало — мы ощутили себя артистами, работающими, как говорится, на публику.

Вслух он не выражал одобрения, зато сочувственно улыбался. Вообще, его такт и его корректность были выше всяких похвал. Обычно шахматная аудитория совершенно невыносима, лезет с вопросами или советами, громко обсуждает ваш ход, отличается крайней категоричностью, — словом, бесцеремонна сверх меры. Старик являл собой образец, можно сказать, эталон воспитанности: не то, что ни одного замечания, — от него невозможно было дожидаться оценки уже завершенной борьбы. За несколько месяцев мы ни разу не услышали звука его голоса. Естественно, он нас заинтриговал, и, расходясь, мы часто обменивались самыми разными гипотезами.

Один из нас утверждал, что старик — побочный сын заезжего лорда, последний джентльмен на земле, другой — что это глухонемой, тихо и благородно свихнувшийся на безответной любви к Каиссе. Была предложена и третья версия, наиболее интересная: он — титулованный шахматист, этакий чемпион в отставке, развлекающийся игрой пижонов. Догадка эта имела успех, но оказалась далекой от истины. Что старики — мастера на сюрпризы, нам еще предстояло узнать.

Однажды мы более чем смиренно попросили его рассудить наш спор, выбрать лучшее продолжение. Он растерялся и промолчал. Когда же мы стали дружно настаивать, пробормотал весьма неуверенно, что затрудняется это сделать, он не знает ни правил игры, ни даже того, как ходят фигуры.

Взрыв бомбы! Гром среди ясного неба! Мы чувствовали себя одурченными. Но что же ему тогда здесь надобно? Зачем он приходит? Как это понять?

Конечно же, было не очень гуманно требовать от него объяснений. Он краснел и заплетался в словах, для него было истинным наказанием растолковывать молодым дурачкам, что уж много лет он живет один и что мы составляем все его общество.

Это мгновенное воспоминание могло бы вызвать во мне симпатию к моему визави на перекрестке. В конце концов в этот скверный вечер мы были товарищи по несчастью.

Но я был раздражен, я настроился на иную, веселую волну, весь день я ждал встречи с моей победительницей, готовился, торопил минуты, все видел ее глаза и рот, крупный, пахнущий сладкой помадой, словно распухший от поцелуев. Я был разочарован и зол. Старый неудачник подчеркивал мое незавидное положение.

Он сдался, когда до десяти осталось всего четверть часа. Сорок пять минут ожидания. Сорок пять бросков из огня да в полымя. Он швырнул четвертый окурок в урну, повернулся и зашагал, какое-то время вдали желтел кремовый чесучовый пиджак и слышался равномерный стук палки с костяным набалдашником.

— Давно бы так, — шепнул я злорадно, — давно бы так, господин кавалер.

Но при этом с удивлением понял, что стоять одному — неумоготу. Обнаружилось, что мой перекресток опустел и выглядит сиротливо. Утешительно, впрочем, что старикан не стал свидетелем моего поражения. Если он обо мне подумал, то, должно быть, о том, что я дождусь.

Возвращаясь домой, я улыбался. Я дождусь — это неоспоримо. Он уже ничего не дождется, а я дождусь, и дождусь всего. Эта мысль и радовала и тревожила. Ночью я не спал ни минуты, лишь твердил себе, что пора решаться, мир велик, а город становится мал.

Спустя полгода пробил мой час, и день отбытия был назначен. Я обходил родню и друзей, приятелей и старых знакомых. Зашел проститься и к Елизавете Павловне. За годы, которые пробежали после первого моего визита, я превратился из подростка в достаточно бойкого молодца, уже не считавшего за особую честь быть принятым уважаемой дамой. Я бывал у нее все реже, времени вечно было в обрез.

Когда я пришел, она растрогалась. «Ох, боже мой, это в самом деле весьма торжественный рубеж, исторический поворот в вашей жизни. В добрый час, вы должны и дерзнуть и рискнуть, когда же, если не в эти лета. Я от души хочу вам успеха». Я невольно отметил, что она изменилась, к сожалению, не в лучшую сторону. Не в том дело, что вся она сжалась и сохлась, что профиль уже не казался орлиным, что старость переходила в ветхость. Изменилась, как мне казалось, личность, королевская осанка исчезла. Где скупая речь и сдержанность жеста, где уверенность в собственной значительности? Говорила, словно боялась умолкнуть, суетлива, утратила свой покой. Почему так подчеркивает

свою симпатию, это мне полагается позаботиться удержать ее царственную благосклонность. И зачем мне эти смешные советы, велеречивые напутствия, имена ушедших или бездействующих? Зачем номера их телефонов, по которым давно никто не звонит? «Да она заискивает передо мной!» — обожгла меня вдруг внезапная мысль. Нелепая мысль, кто я такой? Безвестный молодой человек. И вновь догадка, как озарение: все склоняется перед молодостью.

Очень скоро мне предстояло выяснить, что это открытие достаточно спорно, но в тот день оно наполнило сладкой гордыней. С немного высокомерным сочувствием смотрел я на старые афиши, которые еще больше выдвели, на портреты когдашних триумфаторов с их щедрыми надписями, размашисто выведенными на фраках, визитках и сюртуках. В комнате было темно, чуть сыро, пахло какой-то тоскливой прелю. В те дни у меня была цепкая память, вдруг ожили спавшие на ее донышке посвященные хозяйке стихи: «И пахнет, пахнет морем, как юность, как весна...».

Море было в пяти минутах ходьбы от дома Елизаветы Павловны и все-таки так же далеко, как автор стихов, весна и юность. Я подумал, что, будь я на ее месте, я постарался бы позабыть эти шаловливые строки. Впрочем, эта невеселая мысль растаяла быстрее, чем явилась, так же, как та, что пришла за ней вслед,— о том, что больше мы не увидимся.

Ясно помню последний свой день на родине. Я прошел по старым своим маршрутам, миновал по пути и тот перекресток. Сентиментальное путешествие,— но так оно было только задумано. Лирические чувства дремали, не говоря уже о чувствительности, были одни лишь азарт и радость.

И я уехал, и с той поры минуло много десятилетий, а где тот август, Елизавета Павловна, старик, посещавший шахматный клуб, и тот, другой, в чесучовом костюме, томившийся на моем перекрестке, об этом лучше всего не думать...

## СОДЕРЖАНИЕ

Голоса . . . . .	3
Крапивница . . . . .	13
Процедура . . . . .	37
Закаты . . . . .	42

Леонид Генрихович ЗОРИН

ЗАКАТЫ

*Рассказы*

Редактор А. В. Караулов

Технический редактор Т. Я. Ковынченкова

---

Сдано в набор 7.04.88. Подписано к печати 31.05.88. Формат 70×108<sup>1</sup>/<sub>32</sub>.  
Бумага газетная. Гарнитура «Гарамонд». Офсетная печать. Усл. печ. л. 2,10.  
Усл. кр.-отт. 2,28. Учетно-изд. л. 3,29. Тираж 150000 экз. Зак. № 2296. Цена 20 коп.

---

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография имени В. И. Ленина  
издательства ЦК КПСС «Правда». 125865, ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.